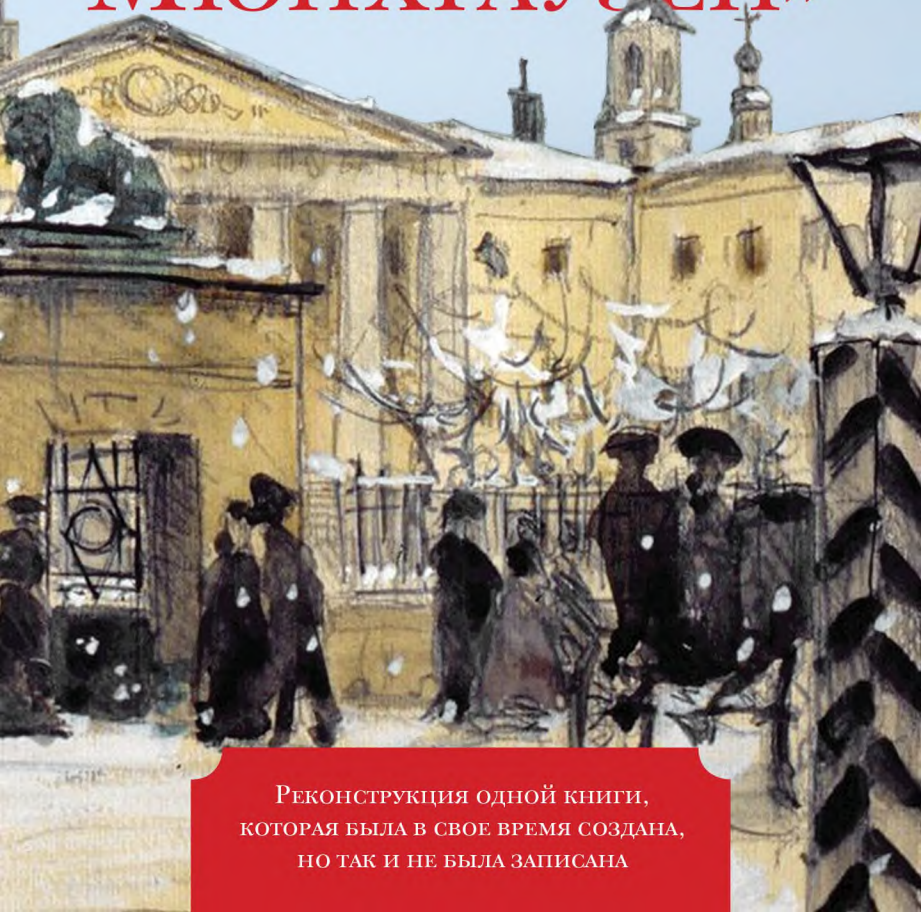


Ефим Курганов
**«РУССКИЙ
МЮНХГАУЗЕН»**



Реконструкция одной книги,
которая была в свое время создана,
но так и не была записана

«РУССКИЙ
МЮНХГАУЗЕН»

Ефим Курганов

«РУССКИЙ МЮНХГАУЗЕН»

*Реконструкция одной книги,
которая была в свое время
создана, но так и не была
записана*



МОСКВА
Б.С.Г-ПРЕСС
2017

УДК 82.091
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
К93



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке
Департамента средств массовой информации
и рекламы города Москвы

В оформлении обложки использована акварель А. Н. Бенуа
«Москва пушкинского времени. Английский клуб» (1915)

Курганов Е. Я.

К93 «Русский Мюнхгаузен»: Реконструкция одной книги, которая была в свое время создана, но так и не была записана / Ефим Курганов. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2017. — 224 с., ил.

ISBN 978-5-93381-362-0

Книга представляет собой восстановленную биографию знаменитого рассказчика и остролова пушкинского времени Дмитрия Евсеевича Цицианова. В ней впервые собраны и прокомментированы все сохранившиеся и воссозданные устные новеллы «русского Мюнхгаузена», зафиксированы все случаи их отражения в текстах А. С. Пушкина, А. А. Шаховского, Н. В. Гоголя, П. А. Вяземского и др.

© Е. Я. Курганов, 2017
© Б.С.Г.-Пресс, 2017

Графине
Норе Вальдштейн

В пушкинскую эпоху современники хранили память о великих лжецах как о мастерах особого искусства. В начале XIX века знаменитым, вошедшим в легенды своего времени лжецом был князь М. Цицианов*.

*Юрий Лотман
(Культура и взрыв. М., 1992. С. 200)*

* Ошибка в употреблении инициалов; конечно же, речь идет о Д. Е. Цицианове.

ОТ АВТОРА

П. А. Вяземский как-то заметил, что французы, разрушая свои политические институты, не забудут и сохранят остроумные слова, сказанные сто или даже двести лет назад.

Тот же П. А. Вяземский писал: «У нас была и есть устная литература. Жаль, что ее не записывали. Часто встречаешь людей, которые говорят очень живо и увлекательно. Нередко встречаешь удачных рассказчиков, бойких краснобаев и метких остряков. Но все выдыхается и забывается» (*Вяземский 1883: 29*).

В самом деле, устная литература в России была. В салонах, великосветских гостиных, писательских и артистических кружках блистали неподражаемые, оригинальные рассказчики, искрометные острословы.

Однако их наследие предавалось бумаге лишь от случая к случаю, не собиралось вместе и не изучалось, что совершенно непростительно, конечно.

Что-то потом пытался записать и обработать сам П. А. Вяземский («Старая записная книжка»), что-то пробовал зафиксировать А. С. Пушкин («Table-talk»), но они это делали в расчете на литературную публикацию и, значит, с оглядкой на цензуру, многое приглаживая и довольно многое утаивая.

И канула русская устная литература в бездну небытия. Но что-то еще можно сделать, восстановить, реконструировать, выбирая по крупицам из писем, дневников, записок современников. Вот мы и попробовали сделать первый шаг.

Ефим Курганов

Париж

18 мая 2016 года

Глава первая
(вводная)

АНЕКДОТЫ
О ДУРАКАХ, ЛГУНАХ,
ПРОСТАКАХ



АНЕКДОТЫ О ДУРАКАХ

До сих пор, увы, так и не было предпринято ни одной (даже самой общей и предварительной) попытки определить репертуар сюжетов тех анекдотов, что имели хождение в русском быту на протяжении XVIII и XIX столетий. Более того, не была поставлена и хотя бы вкратце очерчена и сама проблема. Укажем сейчас хотя бы на основные тематические регистры этого репертуара.

Прежде всего выделим несколько типовых фигур: шут (дурак), лгун (хвастун), простак. Образы эти и сконцентрированные вокруг них серии сюжетов уходят в многовековые фольклорные традиции.

Для нас здесь крайне важен тот устойчивый принцип циклизации народных анекдотов, который сложился в глубокой древности, но является вполне «работающим» еще и теперь. Оказались исключительно живучими и модели древних героев анекдотических

эпосов. Назовем хотя бы цикл о чукчах, самым непосредственным образом соотносящийся с феноменом особых анекдотов о стране дураков, который обнаружился еще в поздней античности и потом в средневековье (рассказы об абдеритах — жителях греческого города Абдеры — и шильдбюргерах — жителях германской деревни Шильда: потом появились и анекдоты о пошехонцах и т. д.). В общем, анекдоты о чукчах строятся по древней и достаточно апробированной модели. Однако из XX столетия вернемся к эпохе, более нас сейчас занимающей.

Во второй половине XVIII — первой половине XIX века был создан и довольно активно функционировал (сначала изустно, а потом и в виде брошюр и небольших книжечек) анекдотический эпос о шуте Балакиреве. Возник он довольно примечательным и показательным образом.

Вокруг совершенно реальной личности костромского дворянина А. И. Балакирева (1699—1763) был циклизирован целый блок международных сюжетов о шуте. Некоторые западноевропейские источники балакиревского эпоса были еще в 1882 году указаны В. Лествицыным в заметке «Фабула о шуте-плуте» (*Лествицын 1882: 173*).

Именно так, как правило, и возникает анекдотический эпос. Берется более или менее реальная фигура (историческая личность или литературный персонаж), и к ней стягиваются совершенно определенные группы сюжетов, естественно переадресовываясь.

В общем, циркулирование серии анекдотов о шуте Балакиреве имело место во второй половине XVIII века и в последующие десятилетия, а был ли на самом деле Балакирев шутком Петра Первого, собственно, и неважно. Даже если он и не был шутком, циклизированные вокруг образа Балакирева сюжеты, новые контексты старых историй, — все это образует любопытнейший эпизод русской культурной истории.

Высшей точкой балакиревской серии стал лубок, а вернее сборник фольклорных текстов, подвергнутых достаточно поверхностной обработке. Лишь поздний сборник 1869 года (см. приложение к предыдущей главе) «Полное и обстоятельное собрание подлинных исторических, любопытных, забавных и нравоучительных анекдотов четырех увеселительных шутов Балакирева, Д'Акосты, Педрилло и Кульковского» готовили профессиональные историки, библиографы, филологи.

Между тем, в отличие от балакиревского цикла, балансировавшего между фольклором и литературой для непрехотливых горожан, в изучаемую эпоху наблюдалось и совершенно иное.

Были случаи, когда традиционная модель шута, переосмысленная и переакцентированная, вводилась в рамки подлинно рафинированной культуры. При этом не просто брались старые сюжеты и перелицовывались, но и в соответствии с нормами шутовского поведения творились новые, свежие тексты. В результате возникали устные и одновременно по харак-

теру своему несомненно литературные модификации анекдотического эпоса о дураках.

В конце XVIII — начале XIX веков в высшем обществе Петербурга и Москвы были весьма распространены рассказы об А. Д. Копьеве (1767—1846), весьма известном тогда поэте-эпиграмматисте и авторе оригинальных комедий. Создавались эти рассказы, конечно, и за счет фольклоризации реальной личности (Копьеву приписывались сюжеты, имевшие международное хождение), но все-таки прежде всего благодаря тому, что Копьев выкидывал такое, что было дозволено только шуту. И его дерзкие проделки имели тогда широкий резонанс.

Разоблачая фальшь, резко обнажая внутреннюю дикость внешне ослепительного, великолепного придворного быта, позволяя в себе говорить в лицо сильным мира сего «голую правду», совершая поступки, совершенно несовместимые с правилами этикета, он строил свою ролевую маску по аналогии с традиционной моделью шута. Тем самым он как бы провоцировал своих современников — многие из них достаточно остро ощущали шутовской комплекс в поведении Копьева — на создание анекдотического эпоса о нем. И истории о копьевских проделках расходились по столицам.

В процессе формирования этого эпоса к ходкам и остротам Копьева подключались сходные сюжеты со сходной функциональной направленностью, но к самому Копьеву, видимо, реального отноше-

ния не имевшие. Происходило это совершенно естественным путем и было закономерно, ведь в процессе утверждения анекдотического эпоса обычно учитывается не столько фактическая, сколько психологическая точность.

Копьев, за которым отнюдь не без оснований была закреплена репутация блестящего острошлова и дерзкого мистификатора, психологически вполне мог совершить то, что ему было приписано. Поэтому у анекдотического эпоса о Копьеве была своя «правда».

Показательно в связи с этим, что П. А. Вяземский, сообщая о том, что во Франции имели хождение сюжеты, которые совпадали с рядом рассказов о Копьеве, добавлял:

Другой анекдот не очень правдоподобен, но, вероятно, и он перешел к французам из России. Не ими же выдуман он. Откуда им знать Копьева? Копьев был большой проказник, это известно. Что он не сробел бы выкинуть такую штуку, и это не подлежит сомнению, но был ли он в том положении, чтобы подобная проказа была доступна ему? Вот вопрос. И ответ, кажется, должен быть отрицательный. Сколько нам известно, Копьев никогда не был камер-пажем и по службе своей не находился вблизи ко Двору.

(Вяземский 1883: 157)

Приведенные слова Вяземского наглядно показывают, что в основе анекдотического эпоса о Копьеве лежит следующая схема: реальная личность с репутацией «острослова-проказника» (шута) плюс набор случаев (дерзких реплик, мистификаций и т. д.), якобы имевших место, а на деле невозможных, невероятных.

Своеобразная репутация Копьева, человека с принципиально внеэтикетным поведением, как бы подтверждала и доказывала правдивость, истинность того или иного невероятного происшествия.

Таким образом, странный, нелепый случай, «работающий» при этом как будто под достоверность и на самом деле выявляющий и подчеркивающий игровой характер события, и определял в целом то яркое и глубоко эстетическое впечатление, которое производили на современников те дерзкие представления, что устраивал Копьев.

И. М. Долгоруков вспоминал о нем в «Капище моего сердца»:

Мой хороший также знакомец славился необыкновенным пострельством. Кто не помнит бесчисленных его проказ? Умен, остер, хороший писец, но просто сказать — петля.

(Долгоруков 1890: 150)

Эта мемуарная зарисовка во многих отношениях весьма показательна. Особенно симптоматично, что склонность Копьева ко всякого рода проделкам и ми-

стификациям поставлена в один ряд с его художественным творчеством («хороший писец»).

Как оригинальный, яркий комедиограф Копьев в глазах современников не мог существовать изолированно от своей самобытной личности, от репутации «острослова-проказника». Образ смелого, дерзкого, беспощадного живописателя дворянских нравов екатерининского-павловского царствований естественно и органично включался в единую и цельную ролевую маску, за которой стояла тенденция выламывания из общепринятых норм, своеобразная эстетика шутовства.

Кстати, сам Копьев в комедии «Что наше, тово нам и не нада» дал тонкую ироническую оценку тех устоявшихся этико-поведенческих норм, которые он виртуозно нарушал и дискредитировал всей своей жизнью; более того, драматург пародийно воспроизвел позицию тех своих современников, которые оказывались потрясенными, ошарашенными свидетелями его дерзких проделок:

П р и ч у д и н : ...вижу, шта ты тот же; аднако в старину я тебя любил и часто с тобой бранивался; долго ли тебе эдак проказничать? Ты не дурак, а дурачишься беспрестанно, ты знаешь, шта все твай ветренности называют в городе злыми умыслами, все твай шутики язвительными ругательствами, и шта

столько людей разумеют о тебе дурно без причины.

П о в е с и н : Штож делать, голубчик! Кто разумеет дурно, ища хоть дурно да разумеет; я вот таких та боюсь, как кто ни дурно, ни харашо разуметь не умеет; ну, уж ат эдаких ни куды не уйдешь!

П р и ч у д и н : О! да эта старое тваио утешенье гаварить каламбуры...

(Копьев 1794: 4—5)

Слова Причудина — это персонаж, олицетворяющий московского обывателя, — в приведенном фрагменте пронизаны особым чувством изумления (почему до сих пор проказничаешь? Почему изошряешься в «язвительных ругательствах», будучи честным человеком? и т. д.), что очень существенно, ибо именно момент изумления во многом определял атмосферу восприятия рассказов о Копьеве. От них всегда ждали (даже если при этом не радуясь, а огорчаясь) чего-то неожиданного, неповторимо-оригинального, эпатирующего. И дело здесь не только в особых свойствах виртуозно-артистической, парадоксальной натуры Копьева, но еще и в том, что его способность к розыгрышам, ко всякого рода мистификациям и смелым словесным трюкам в сознании современников резко выделялась, обособляясь от других реальных черт характера, абсолютизируясь даже. И на какой-то отрезок времени (это годы сурового павловского царствования) он стал жи-

вой легендой, ибо якобы мог достаточно вольно обращаться с самим императором Павлом Первым, который многим подданным своим внушал страх и ужас.

Миф о Копьеве уже предполагал некое состояние столбняка, которое находит на слушателей и зрителей, когда как бы дух захватывает от немыслимой дерзости и изощренной фантазии присяжного мистификатора и острослова. Неслучайно атмосфера рассказов о Копьеве с обязательным моментом изумления в их восприятии явственно ощутима в целом ряде мемуарных свидетельств.

Так, Ф. Ф. Вигель писал, как бы недоумевая (и это как раз в высшей степени характерно):

Ни против кого не имел ни злобы, ни зависти, а ни о ком не умел сказать хорошего слова; для красного словца, как говорилось тогда, не щадил он если не отца, то мать и сестер, к коим, впрочем, чрезвычайно был привязан.

(Вигель 1864: 160)

Приведенное свидетельство интересно не только содержательной, но и эмоциональной своей направленностью, именно как реакция современника. Ф. Ф. Вигель еще уточнил свою характеристику Копьева:

В нем (Копьеве. — *Е. К.*) не было ни злости, ни недостатка в уме, ни одного из пороков

молодости, которые иногда остаются в старости, а со всем тем трудно было приискать что-нибудь ему в похвалу. Все его молодые современники щеголяли безбожеством и безнравственностью более в речах, чем в поступках, и это давало им вид веселого, но нестерпимого бесстыдства. Он старался их превзойти.

(Вигель 1864: 158)

Эта мемуарная зарисовка убедительно обнажает в поведении Копьева некоторую литературную позу, дидактичную и яркую; это и обусловило то, что вокруг определенной личности стал собираться свой анекдотический эпос. Причем это была не личность как таковая, не некая реальная персона, а личность, выбравшая для себя ролевую маску шутовского плана.

Приведем знаменитый в свое время анекдот о косе императора Павла, бывший в конце XVIII — начале XIX века своего ода сигналом, опознавательным знаком копьевского цикла:

Паж Копьев бился об заклад с товарищами, что тряхнет косу императора за обедом. Однажды, будучи при нем дежурным за столом, схватил он государеву косу и дернул ее так сильно, что государь почувствовал боль и гневно спросил:

— Кто это сделал?

Все в испуге. Один паж не смутился и спокойно отвечал:

— Коса вашего величества криво лежала, я позволил себе выпрямить ее.

— Хорошо сделал, — сказал государь, — но все же мог бы сделать осторожнее.

(Вяземский 1883: 156)

Как известно, император Павел Первый в первую очередь ценил в людях, окружавших его, рыцарские качества, абсолютные, не знавшие никаких ограничений и компромиссов преданность и верность. И Копьев разоблачал, пародировал, доводил до полнейшего абсурда ту идеальную модель, которую романтически выстраивал Павел Первый.

С анекдотом о косе императора тематически, да и структурно, непосредственно связан следующий текст:

В другой раз Копьев бился об заклад, что он понюхает табаку из табакерки, которая была украшена бриллиантами и всегда находилась при государе.

Однажды утром подходит он к столу возле кровати императора, почивающего на ней, берет табаку, с усиленным фырканьем сует в нос.

— Что ты делаешь, пострел? — с гневом говорит проснувшийся государь.

— Нюхаю табак, — отвечает Копьев. — Вот восемь часов, что дежурю; сон начал меня одолевать. Я надеялся, что это меня освежит, и подумал: лучше провиниться перед этикетом, чем перед служебной обязанностью.

— Ты совершенно прав, — говорит Павел, — но как эта табакерка мала для двух, то возьми ее себе.

(Вяземский 1883: 156)

Отмеченная выше близость двух анекдотов совершенно очевидна: оба текста соотносятся как соседние по своему местоположению в пределах копьевского анекдотического эпоса. Однако общность состоит еще и в том, что в двух приведенных рассказах последовательно пародируется та своеобразная эстетика службы (она порой доходила до полной дикости и даже бессмыслицы), которая играла исключительно важную роль в атмосфере павловского царствования, диктуясь тем поведенческим стилем, который задавал сам император.

В копьевский анекдотический эпос входит еще одна история, связанная явно с Павлом Первым: она, кстати, наиболее явно демонстрирует связь поведенческой маски Копьева с шутовским комплексом:

По вступлении Павла на престол Копьев остался без опоры со своими пресловуты-

ми фарсами. Все тогда роптали на перемену мундирной формы по старинному прусскому образцу, и Копьев выкинул штуку — заказал себе в преувеличенном виде все: ботфорты, перчатки с раструбами, прицепил уродливую косу и букли и в этом шутовском наряде явился к императору.

(Пыляев 1891: 510)

Этот рассказ прежде всего построен на заострении того обстоятельства, что новая форма по прусскому образцу уродлива и, главное, чужда, непривычна, неестественна для русского воина. Копьевская проделка на глазах самого императора демонстрировала абсурдность нововведения.

Вообще поведение Копьева во всей этой группе текстов (а в приведенном рассказе совершенно особо даже) носит остро выраженный буффонный, шутовской характер.

Обратите внимание: приведенные эпизоды в первую очередь основаны на функции обнажения. Данная особенность имеет значение для понимания копьевского эпоса в целом, для уяснения того, что же объединяет, цементирует все его сюжетные звенья.

Вот еще один эпизод. В «Записках о моей жизни» Н. И. Греча зафиксирован следующий анекдот:

Чулков, петербургский полицмейстер, вздумал над ним (А. Д. Копьевым. — Е. К.) по-

тешиться, призвал его к себе, осыпал ругательствами и насмешками и, наконец, сказал:

— Да, говорят, братец, что ты пишешь стихи?

— Точно так, писывал в былое время, ваше высокородие.

— Так напиши теперь мне похвальную оду, слышишь ли? Вот перо и бумага!

— Слушаю, ваше высокородие, — отвечал Копьев, подошел к столу и написал:

«Отец твой чулок, мать твоя тряпица, а ты сам что за птица?!»

(Греч 1886: 19)

Приведенный текст связывает с другими рассказами о Копьеве, реконструированными выше из ряда письменных источников, как минимум одна общая черта, а именно — внеэтикетность поведения в повышенно этикетном социуме. Она, собственно, и определила характер концентрируемых вокруг образа присяжного мистификатора и острошлова сюжетов, организуя их в нечто единое и целостное — в анекдотический эпос о Копьеве, общей доминантой которого явилась функция обнажения. Функция эта возникла и утвердилась как скрепляющее вещество копьевского эпоса отнюдь не случайно.

Определяя специфику древнерусского смеха, Д. С. Лихачев подметил следующее:

Функция смеха — обнажать, обнаруживать правду, раздевать реальность от покровов этикета, церемониальности, искусственного неравенства, от всей сложно знаковой системы данного общества... Древнерусский смех — это смех «раздевающий», обнажающий правду, смех голого, ничем не дорожащего. Дурак — прежде всего человек, видящий и говорящий «голую» правду.

(Смех в Древней Руси 1984: 16)

Эта демократическая тенденция «оголения» мира не заглохла, не исчезла со временем. Пройдя через ряд неизбежных превращений и адаптаций, она всплывает вдруг в русском дворянском быте конца XVIII — начале XIX века, приспособившись, естественно, к его внутренним законам, но сохранив замечательную функцию обнажения, которая помогает выявить бессмыслицу, неестественность, фальшь обычных, автоматизированных форм жизни.

Полагаем, что именно к традициям раздевания реальности, непосредственно связываемым с популярным типом шута (дурака), генетически и восходит образ Копьева как центрального персонажа целой серии анекдотов — образ, отличающийся такой именно направленностью поступков, которая развенчивает реальность, сбрасывает условности, снимает с придворного мира покров великолепия, блистательности, недостижимости.

Реконструируем еще ряд анекдотических эпосов, функционировавших в русском дворянском быту конца XVIII — начала XIX века и представлявших собой оригинальные творческие модификации типа шута (дурака).

Обратимся к весьма колоритной фигуре Васеньки Апраксина (1788—1822), занимавшей особое место в жизни русского общества первых двух десятилетий XIX столетия. И дело тут совсем не в том, что это был блестящий офицер-кавалергард, участник войн с Наполеоном, флигель-адъютант Александра Первого, фаворит великого князя Константина Павловича. Все эти внешние показатели не так уж и важны на самом деле, во всяком случае совсем не они делали фигуру Апраксина заметной на блестящем фоне александровского царствования. Главное в восприятии Апраксина современниками определялось тем захватывающим интересом, который он вызывал как личность, как дерзкий и непредсказуемый в своих устных импровизациях «острослов-проказник».

П. А. Вяземский писал А. Я. Булгакову:

У Апраксина, без всякого образования, было много ума d'à-propos. Как пел он самоучкою и с наслышки, так он был и умен. Совершенно ничего не знал и вдруг, вмешавшись в разговор, пустит шутку прямо в цель, и попадет вернее всякого.

(Сборник биографий кавалергардов 1906: 153)

Эту характеристику Апраксина-острослова существенно дополняет и укрупняет следующая мемуарная запись:

Император Александр Павлович не любил Апраксина и, вероятно, потому, что Апраксин, будучи его флигель-адъютантом, перешел к великому князю Константину. Апраксин просил однажды объяснения, не зная, чем он подвергнул себя царской немилости. Государь сказал, что он видел, как Апраксин за столом смеялся над ним и передразнивал его.

(Вяземский 1884: 33)

Кстати, сохранился альбом с рисунками Апраксина, представляющий собой своего рода беспощадную сатирическую галерею высшего петербургского общества. Сохранились также и свидетельства современников об апраксинских карикатурах, которые своей внеэтикетностью представляли собой настоящие шутовские выходы.

Приведем одно из этих свидетельств, весьма симптоматичное:

Во все пребывание свое в Варшаве, когда всю судьбу свою, так сказать, поработил великому князю, он (В. И. Апраксин. — Е. К.) писал его карикатуры одну смелее другой,

по двадцати в день. Он так набил руку на карикатуру великого князя, что писал их машинально пером или карандашом, где ни попало: на летучих листках, на книгах, на конвертах.

(Вяземский 1884: 33)

И, наконец, завершим краткую сводку данных о Васеньке Апраксине следующим заключением современника:

В качествах своих, благих и порочных, был он коренное и образцовое дитя русской природы и русского общежития.

(Вяземский 1884: 34)

Все приведенные свидетельства обнаруживают у аристократа Васеньки Апраксина совершенно определенный стиль поведения, который состоял в подчеркнутом нарушении системы установленных отношений, в разрушающем всякие этикетные нормы осмеянии самого императора и его брата, наследника престола. Это удивительным образом соответствует сложившейся модели национального типа шута (дурака).

Именно дурак, открыто передразнивая царя, с невинным видом еще и спрашивает, изумляясь: в чем причина немилости к нему?! Именно он, находясь при наследнике престола и всячески завися от него, тем не менее постоянно изоощряется в пародировании

своего сиятельного патрона (апраксинские карикатуры).

Что тут важно: шут (дурак) и не пытается таить-ся, ибо не видит в своем занятии ничего предосудительного; он просто как бы не замечает этикета, смотрит сквозь, а точнее мимо сложившейся придворной иерархии, ставя себя вне привычных условностей.

В поведении Васеньки Апраксина весь этот комплекс прослеживается самым очевидным образом. Однако, судя по всему, сознательной установки на ролевую маску шута у него не было. То был спонтанный процесс. Шутовство всплывало из глубинных национальных недр и даже стало доминировать в личности блестящего полковника-кавалергарда.

Тут уместно будет привести определение древнерусского дурака, которое в свое было сделано Д. С. Лихачевым:

Что такое древнерусский дурак? Это часто человек очень умный, но делающий то, что не положено, нарушающий обычай, приличие, принятое поведение, обнажающий себя и мир от церемониальных норм, показывающий свою наготу и наготу мира.

(Смех в Древней Руси 1984: 15)

Типологическое определение древнерусского дурака удивительным образом соответствует той специфической репутации, которую имел Васенька Апраксин.

син. И тут налицо, конечно, не случайное совпадение. Осознанно, целенаправленно или нет, но весь апраксинский стиль жизни был ориентирован на совершенно определенный комплекс национальных традиций, что проявлялось не только в наивно-бесцеремонных выходках флигель-адъютанта Александра Первого, но и в его живом, беспощадно-точном «красном словце». Один из образчиков последнего мы теперь и приведем.

В «Старой записной книжке» П. А. Вяземского в числе рассказов об апраксинских остроумных ответах зафиксирован и следующий:

Однажды преследовал он (В. И. Апраксин. — *Е. К.*) Волконского (Петра Михайловича, 1766—1852, министра двора. — *Е. К.*) своими жалобами. Тот, чтобы отделаться, сказал ему:

— Да подожди, вот будет случай награждения, когда родит великая княгиня.

— А как выкинет? — подхватил Апраксин.

(Вяземский 1884: 33)

Пример этот необыкновенно точно показывает единство ролевой маски Васеньки Апраксина с его устным словом, простодушно-хитроватым, невинно-лукавым и вместе с тем всегда бьющим прямо в цель и в целом

очень точно вписывающимся в круг традиций шутовского поведения.

Неслучайность и даже своеобразная закономерность приведенной апраксинской реплики, ее соотнесенность с многовековым народным опытом, с типом шута (дурака), нам кажется, становится еще более очевидной при сопоставлении рассказа об остроумном ответе Васеньки с одним анекдотом об И. А. Крылове:

Однажды приглашен он (И. А. Крылов. — Е. К.) был на обед к императрице Марии Федоровне в Павловске.

Гостей за столом было немного. Жуковский сидел возле него. Крылов не отказывался ни от одного блюда.

— Да откажись хоть раз, Иван Андреевич, — шепнул ему Жуковский, — дай императрице возможность попотчевать тебя.

— Ну а как не попотчует? — отвечал он и продолжал накладывать себе на тарелку.

(Крылов 1982: 181)

Тут налицо не только сходство сюжетов, а точнее ситуаций, но еще и наличие одной общей психологической черточки. Она непосредственно связана с национальным типом лукавого простака, этакого мужика себе на уме, рядящегося дурацкие одежды, играющего в непонимание, что дает ему возможность открыто говорить правду, нарушать церемониал установив-

шихся отношений и вообще находиться как бы вне этикета. Но вернемся теперь к Васеньке Апраксину.

В «Старую записную книжку» П. А. Вяземского, содержащую основной корпус сохранившихся анекдотов о В. И. Апраксине (П. А. Вяземский практически был единственный, кто их записывал), включен, в частности, и следующий текст — это мини-цикл, состоящий из двух анекдотов:

Генерал Чаплиц, известный своей храбростью, говорил очень протяжно, плодovито и с большими расстановками в речи своей.

Граф Апраксин, более известный под именем Васеньки Апраксина, приходит однажды к великому князю Константину Павловичу, при котором он находился на службе в Варшаве, и просится в отпуск на 28 дней. Между тем ожидали на днях приезда в Варшаву императора Александра.

Великий князь, удивленный этою просьбою, спрашивает его, какая необходимая потребность заставляет его отлучаться из Варшавы в такое время.

— Генерал Чаплиц, — отвечает он, — назвался ко мне завтра обедать, чтобы рассказать мне, как попался он в плен в Варшаве, во время первой польской революции. Посудите сами, ваше высочество, раньше 28 дней никак не отделаюсь.

Разнесся слух, что папа умер. Многие старались угадать, кого на его место изберет конклав.

— О чем тут толковать! — перебил речь тот же Апраксин. — Разумеется, назначен будет военный.

Это слово, сказанное в тогдашней Варшаве, строго подчиненной военной обстановке, было очень метко и всех рассмешило.

(Вяземский 1883: 52)

Оба эти анекдота, конечно, совсем не случайно были поставлены П. А. Вяземским рядом. Дело все в том, что они образуют единое эмоционально-стилевое пространство. Автор «Старой записной книжки», безусловно, не реконструировал полностью апраксинский эпос, да и не ставил перед собой такой задачи, но он сохранил его атмосферу, выделив ядро (личность Васеньки Апраксина) и на ярких, выразительных примерах показал, как вокруг этого ядра, собственно, и шло наращивание текстов.

Рассказы об Апраксине, которые зафиксировал Вяземский, отличается какая-то особая импульсивная живость, искренность интонации. Так, объясняя великому князю Константину Павловичу причину просьбы о срочном, неожиданном отпуске, Апраксин простодушен и бесхитростен. Он говорит как бы помимо своей воли, без какой-либо специальной установки на разоблачение, обнажая забавные и нелепые стороны

личности известного генерала. В финале же второго рассказа заключительные слова Апраксина вырываются совершенно произвольно и попадают прямо в цель, беспощадно точно характеризую самую обстановку оккупированной русскими войсками Варшавы.

Как видим, разоблачая и обнажая, Васенька Апраксин не играл и не представлялся: остроумные ответы, мистификации, карикатуры были живыми и непосредственными проявлениями его личности, его парадоксально-насмешливого, пронизательного ума, в котором лукавство переплеталось с простодушием.

Тем самым анекдотический эпос об Апраксине, выразительно и ярко характеризую жизнь русского общества двух первых десятилетий XIX столетия, одновременно вводит в самую гущу народных традиций, показывая живучесть типа русского правдолюбца, который, даже вопреки личным интересам, не может не высказать с беспощадной искренностью и одновременно с видом полнейшей невинности самой что ни есть «голой правды».

Все это убеждает, что фигура Апраксина не просто ярка, своеобразна, колоритна, но при этом еще и чрезвычайно показательна.

В конце XVIII — начале XIX века в русском дворянском быту получил закрепление особый тип «острослова-проказника». По целому ряду моментов его появление было обусловлено общей ориентацией на европейские нормы общения. То была попытка перенести на русскую почву европейскую салонную выуч-

ку, попытка освоить искусство знаменитых французских остроумцев.

Но это только с одной стороны. С другой же стороны, феномен «острослова-проказника» определялся многосторонними связями с корневыми основами русской жизни, с традиционным образом русского дурака. И тут, помимо колоритной фигуры Васеньки Апраксина, просто нельзя не указать на личность Льва Александровича Нарышкина (1733—1799), который был одновременно изысканным европейцем, знатным вельможей и балагуром, бахарем, дураком в духе прежних традиций.

Обер-шталмейстер двора, приближенный Екатерины Второй с первых же лет ее царствования, Л. А. Нарышкин занимал совершенно особое место в структуре дворцового быта, место завоеванное, помимо высокого происхождения, еще и блистательными способностями неподражаемого остроумца, балагура, рассказчика анекдотов.

Обобщая сохранившиеся отзывы о Л. А. Нарышкине, Я. К. Грот заметил:

По врожденной веселости характера и особенной остроте ума он присвоил себе право всегда шутить, не стесняясь в своих речах.

(Державин 1868: 730).

Характеристика, сделанная Я. К. Гротом, достаточно ясно показывает, что в основе поведенческой про-

граммы Л. А. Нарышкина лежало сознательное нарушение общепринятых норм, ориентированное на маску шута (дурака). Это делало в глазах общества допустимым то, чего не могли гарантировать ни богатство, ни высокое общественное положение. Отсюда и шла преднамеренная открытость и даже резкость слова, дерзость и свобода жеста.

В одном из писем принца де Линя воссоздан следующий любопытный эпизод:

Обер-шталмейстер, прекраснейший человек и величайший ребенок, пустил волчок, огромное собственной его головы. Позабыв нас своим жужжанием и прыжками, волчок с ужасным свистом разлетелся на три или четыре куса, проскочил между государыней и мною, ранил двоих сидевших рядом с нами и ударился об голову принца Нассауского.

(Державин 1868: 503)

Все в приведенном фрагменте показательно: и характеристика Л. А. Нарышкина (за определением «величайший ребенок» угадывается та черта простодушного лукавства, которая неотделима от традиционного образа русского дурака), и самый эпизод, построенный на принципиальной внеэтикетности, на свободе жеста, преднамеренного выпадающего из канонов придворного времяпровождения.

Интересно, что случай, рассказанный принцем де Линем, получил отражение, и основательное, в стихотворении Г. Р. Державина, посвященном Л. А. Нарышкину. Иными словами, случай этот был достаточно значим, являясь даже своего рода сигналом нарышкинского стиля жизни, обобщенную формулу как раз и дал поэт.

Он искусно и тонко лепил образ екатерининского вельможи, известного своим буффонным, шутовским и в то же время исполненным европейского изящества поведением, простодушно-непосредственного и в то же время царедворца в полном смысле слова, галантного кавалера и забавника, снискавшего популярность воими остротами и проделками:

Что нужды мне, кто по паркету
Подчас и кубари пускал
.....
Что нужды мне, кто все зефиром
С цветка лишь на цветок летя,
Доволен был собою, миром,
Шутил, резвился, как дитя.

(Державин 1868: 498—499)

Живую и точную державинскую зарисовку имеет смысл расширить и уточнить за счет мемуарного свидетельства графа Сегюра (оно исключительно важно для уяснения шутовского слоя в поведенческом стиле Нарышкина):

Существовал в Петербурге дом, который, конечно, не походил ни на один другой, — это дом обер-шталмейстера Нарышкина... Он пользовался не значением, но скорее величайшим расположением Екатерины Второй: ее забавляли его странности, она смеялась над его шутовскими проделками и распущенностью его образа жизни. Как он не стеснял никого, а забавлял всех, то ему все спускали, и он имел право говорить и делать то, что другим никак бы не было позволено.

(Пекарский 1863: 17)

В приведенном свидетельстве основные типологические черты образа шута (дурака) налицо, хотя они и даны в ярком, глубоко индивидуальном портрете Л. А. Нарышкина.

При этом чрезвычайно важен следующий момент: Л. А. Нарышкин не просто дурачился, говорил колкости, мистифицировал: дело в том, что условия его дерзкой игры были приняты, ему позволено было делать все, что он делал. Более того, его проделок ждали, и обер-шталмейстера окружающие воспринимали в совершенно особом ключе, а именно как присяжного балагура, как истинного придворного шута, хотя наличие такого в штате Екатерины Второй отнюдь не предполагалось.

Двор императрицы по ее замыслу был организован как просвещенно-европейский, но, очевидно, в нем нашла себе лазейку традиция, идущая от тех дураков и дур, без которых был бы совершенно невозможен придворный штат прежних царствований.

Весь круг привлеченных данных, при всей их пестроте, дает единую и цельную, хотя совсем не однослойную картину. Можно суммировать, что исходной точкой поведенческой программы Л. А. Нарышкина явилась ориентация на народный тип, определяя который Д. С. Лихачев отметил: «Говорят и видят правду дураки» (*Смех в Древней Руси* 1984: 20). Причем, осваивая и перерабатывая традиционный национальный образ, Л. А. Нарышкин был убедителен, ярок, блистателен и при этом необыкновенно органичен.

Обнажение мира от условностей, показ его лживости и фальши, дерзкое и беспощадно точное раскрытие «голой правды» — все это не мог себе позволить даже самый знатный вельможа, а вот шут мог. Данную конвенцию, судя по всему, Л. А. Нарышкин достаточно четко осознавал: более того, в своем устном творчестве непосредственно из нее исходил. Понимая, что вход в некоторые заповедные области допустим лишь для шута, он, хотя и аристократ до мозга костей, входя в эти области, вел себя именно как шут; выходя из них, опять становился гордым и знатным вельможей.

Шутовство было важнейшим, но все лишь одним из регистров в образе жизни Льва Нарышкина, кото-

рый характеризовала несомненная стилистическая полифония. Однако цикл нарышкинских устных новелл едва ли не целиком был построен по модели шутовского поведения, беспощадно оголяющего мир, резко, точно снимающего нарост привычных условностей.

Один из этих анекдотов (пожалуй, самый знаменитый в свое время) мы сейчас полностью и приведем, настолько он важен для понимания своеобразного нарышкинского наследия:

Однажды императрица Екатерина, во время вечерней Эрмитажной беседы, с удовольствием стала рассказывать о том беспристрастии, которое заметила она в чиновниках столичного управления и что, кажется, изданием «Городового положения» и «Устава благочиния» она достигла уже того, что знатные с простолюдинами совершенно уравнены в обязанностях своих пред городским начальством.

— Ну вряд ли, матушка, это так, — отвечал Нарышкин.

— Я же говорю тебе, Лев Александрович, что так, — возразила императрица, — и если б люди твои и даже ты сам сделали какую несправедливость илислушание полиции, то и тебе спуску не будет.

— А вот завтра увидим, матушка, — сказал Нарышкин, — я завтра же вечером тебе донесу.

И в самом деле, на другой день, чем свет, надевает он богатый кафтан со всеми орденами, а сверху накидывает старый, изношенный сюртучишко одного из истопников, и, нахлобучив дырявую шляпенку, отправляется пешком на площадь, на которой в то время под навесами продавали всякую живность.

— Господин честной купец, — обратился он к первому попавшемуся ему курятнику, — а по чему продавать цыплят изволишь?

— Живых — по рублю, а битых — по полтине пару, — грубо отвечал торгаш, с пренебрежением осматривая бедно одетого Нарышкина.

— Ну так, голубчик, убей же мне парочки две живых-то.

Курятник тотчас же принялся за дело: цыплят перерезал, ощипал, завернул в бумагу и положил в кулек, а Нарышкин между тем отсчитал ему рубль медными деньгами.

— А разве, барин, с тебя рубль следует? Надобно два.

— А за что ж, голубчик?

— Как за что? За две пары живых цыплят. Ведь я говорил тебе: живые по рублю.

— Хорошо, душенька, но ведь я беру не живых, так за что изволишь требовать с меня лишнее?

— Да ведь они были живые.

— Да и те, которых продаешь ты по полтине за пару, были также живые, ну я и плачу тебе по твоей же цене за битых.

— Ах ты, калатырник, — взбесившись, завопил торгош, — ах ты, шишмонник этакий! Давай по рублю, не то вот господин полицейский разберет нас!

— А что у вас за шум? — спросил тут же расхаживающий, для порядка, полицейский.

— Вот, ваше благородие, извольте рассудить нас, — смиренно отвечает Нарышкин, — господин купец продает цыплят живых по рублю, а битых по полтине пару; так, чтобы мне, бедному человеку, не платить лишнего, я велел перебить их и отдаю ему по полтине.

Полицейский вступился за купца и начал тормошить его, уверяя, что купец прав, что цыплята точно живые и потому должен он заплатить по рублю, а если не заплатит, так он отведет его в сибирку.

Нарышкин откланивался, просил милостивого рассуждения, но решение было неизменно: «Давай еще рубль или в сибирку».

Вот тут Лев Александрович, как будто ненарочно, расстегнул сюртук и явился во всем блеске своих почестей, а полицейский в ту же минуту вскинулся на курятника:

— Ах ты, мошенник! Сам же говорил, живые по рублю, битые по полтине и требуешь за битых как за живых!

Разумеется, Нарышкин заплатил курятнику вчетверо и, поблагодарив полицейского за справедливое решение, отправился домой, а вечером в Эрмитаже рассказал императрице происшествие, пришучивая и представляя в лицах себя, торгаша и полицейского.

(Жихарев 1955: 149—151)

Этот анекдот, надо полагать, чрезвычайно изумил и позабавил всех собравшихся для «вечерней Эрмитажной беседы». Однако случай, блистательно разыгранный в лицах Л. А. Нарышкиным, должен был не только развеселить и развлечь августейшую слушательницу и ее ближайшее окружение, но и преподнести им истины малоприятные, которые, может быть, императрица в глубине души сознавала, но старалась не подать виду.

Екатерина Великая ведь, по сути, даже и не пыталась что-то по существу менять в России; европеизм, просвещенность, преобразования, введение парламентской системы — все это для нее было лишь мажорасом, игрой, рассчитанной на умных циников, наивных фантазеров и просто доверчивых подданных. Не то чтобы императрица не относилась всерьез к делу Петра — нет, просто она, видимо, понимала, что попытка движения к структурным переменам может оказаться шагом в бездну, а ей в первую очередь нужен был прочный трон. Значит, оставалось представляться, играть в цивилизационную работу.

Приведенный анекдот как раз и основан на дерзком, беспощадном и вместе остроумном обнажении социального неравенства, стыдливо прикрытого фигурными листками указов и реформ Екатерины Второй. Причем общее развертывание сюжета идет по линии динамичного, последовательного, неуклонного раскрытия «голой правды». Сначала маскировка, а затем дешифровка Л. А. Нарышкиным своего высокого социального положения каждый раз радикальнейшим образом меняют взаимоотношения между участниками происходящего, акцентируя, обнажая то обстоятельство, что рабская робость низшего перед высшим изнутри определяет характер екатерининской действительности.

Совершенно очевидно, что именно оголение, разделение мира от условностей, собственно, и составляет нерв нарышкинской устной новеллы, во многом обуславливая ее эстетический эффект.

И вот что еще интересно. Самый сюжет вышеприведенного повествования чрезвычайно напоминает рассказ Антона Чехова «Хамелеон». Не исключено, что именно оригинальный нарышкинский анекдот, который в свое время был записан С. П. Жихаревым и включен в его «Записки современника», и подтолкнул писателя к созданию «Хамелеона».



Анекдотические эпосы об А. Д. Копьеве, В. И. Апраксине и Л. А. Нарышкине, о которых шла речь выше, захватывают отнюдь не совпадающие срезы реальности, они имеют, может быть, и близкие, но все же совсем не идентичные зоны. Иначе говоря, прямых пересечений и непосредственных совпадений тут не наблюдается. Однако все эти анекдотические эпосы объединяет то общее, что в целом они строятся по принципу обнажения, освобождения реальности от привычных церемониальных норм.

Все дело в том, что в центре каждого из этих эпосов находится тип шута, не только забавляющего окружающих, но и смело разрывающего цепь принятых в обществе условностей, открывающего мир «голой правды». При этом обнаруживаются два основных варианта проявления типа шута в жизни европеизированного русского общества.

С одной стороны, наблюдались случаи, когда можно было оказаться как бы не слишком задетым «об-

учением» европейской культуре: Васенька Апраксин, как показывают факты, совершенно спонтанно и цельно ориентировался на национальный тип дурака. В то же время были и более сложные случаи, когда древние традиции шутовства органично входили в европеизированный дворянский быт, подключаясь к его изощренно-рафинированным нормам, но не растворяясь и не теряя своей специфики (А. Д. Копьев и Л. А. Нарышкин). По двум этим условно выделенным каналам и проходило проецирование фольклорного типа дурака в мир русской культуры.



АНЕКДОТЫ О ЛГУНАХ (ХВАСТУНАХ)

 гун (хвастун) — другой традиционный образ, с которым связана совершенно особая сфера народных анекдотов.

К типу лгуна, как правило, стягиваются имеющие многовековое международное хождение невероятные, «лживые» истории, анекдоты-небылицы. В справочнике «Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка» есть весьма обширный раздел: «Небылицы» (*Сравнительный указатель 1979: 370—380*).

В следующей главе мы попробуем подробно остановиться на преломлении поэтики «лживых» историй в русском дворянском быту. Сделано это будет на материале изучения устных новелл Д. Е. Цицианова, которые в восприятии современников складывались в особый анекдотический эпос, в книгу о «русском Мюнхгаузене». Дело все в том, что наследие Д. Е. Ци-

цианова представляет собой любопытную культурную модификацию народных анекдотов о небылицах. Так что об этой разновидности жанра будет отдельный разговор. Сейчас же ограничимся одним кратким, но весьма показательным, как представляется, русским экскурсом.

В свое время среди русских народных анекдотов о небылицах были очень популярны сюжеты о неестественно огромном быке, о большом шмеле, о невиданных размеров капусте, огурце, дыне, горохе и т. д. Впервые они, кажется, были зафиксированы в Талмуде, в трактате «Таанит» (Посты):

Дождь выпадал таким образом, пока не стала пшеница такая же, как человеческие почки, ячмень — как косточки от маслин, а чечевица — как золотые динары. И связали из них образец для потомств, чтобы показать, до чего доводит грех (если бы люди вели себя правильно, такие размеры были бы у плодов земли всегда), как сказано у пророка о том, что именно грехи вызывают засуху и скудные дожди.

(Таанит 1998: 235)

В России этот мотив получил отражение в литературе конца XVIII — начала XIX века. Так, указанные сюжеты были закреплены в книге Е. Хомякова «Забавный

рассказчик, повествующий разные истории, сказки и веселые повести» (1791 г.).

Любопытное творческое преломление указанных необычных мотивов мы нашли у П. П. Свиньина (1787—1839), издателя журнала «Отечественные записки», собирателя русских исторических редкостей и рассказчика невероятных историй (считается, что именно его многочисленные небылицы легли в основу комедии А. А. Шаховского «Не любо — не слушай, а лгать не мешай»).

В октябре 1822 года Всеволодом Всеволожским было устроено грандиозное трехдневное празднество на мызе Рябово. Среди присутствовавших на нем был и П. П. Свиньин. Вот его отзыв о празднестве, восторженно-художественный :

Об обеде и его «меню» рассказывать нечего, потому что само собой разумеется, он был верхом совершенства; но в пример изобилия и роскоши стола можно упомянуть о разварном осетре, только что полученном по почте с Урала и поданном в паровом котле, который, обернутый массою салфеток, был принесен на какой-то платформе.

(Бурнашев 1875: 192—193)

Собственно, П. П. Свиньин в данном случае создал яркую гиперболу прошедшего празднества, творил невероятное реальное происшествие, при этом явно ориен-

тируясь на модель анекдота о небылицах. Он, собиратель редкостей, коллекционировавший все истинно национальное, описывал событие на мызе Рябово, попутно признаваясь (и это признание высвечивает ту задачу, которую ставил перед собой П. П. Свиньин, реконструируя празднество):

Изливаю на вас мой восторг при зрелище такой-то исторической роскоши и такого великого, почти баснословного гостеприимства.

(Бурнашев 1875: 193)

Интересно, что наиболее эффектным описанием происшедшего на мызе Рябово (фактически это уже не большая новелла, имеющая свой взрывной финал) явился, однако, не этот отзыв, а заметка, которую П. П. Свиньин поместил в издававшемся им журнале «Отечественные записки»:

Обед был в театральной зале на 120 приборов. В пример изобилия и изящества стола упомяну о разварном осетре. Без сомнения, рыба сия у римского сибарита была бы сморяна, взвешена и превознесена тут же странствующим бардом; но мы в честь ее скажем только, что как ни усердно трудились мы над нею, но не смогли ее уничтожить.

(Свиньин 1822: 279)

Приведенная история по некоторым сообщенным в ней деталям совершенно невероятна, но она была записана в виде хроники и тем самым приравнена к абсолютно реальному факту. Текст П. П. Свинына выстроен по модели «невероятное реальное происшествие». По духу своему он, несомненно, фольклорен, самым непосредственным образом соотносясь с темами и образами и самим построением народных анекдотов о небылицах.

Иными словами, П. П. Свинын, выстраивая свое сообщение-анекдот, опирался на национальную традицию «лживых» историй; более того, пытался ее продолжить. И это не субъективно-индивидуальная черточка, характеризующая именно П. П. Свинына, не случайность, не исключение, а одна из особенностей русского дворянского быта начала XX столетия.

Весьма показательны, что М. Н. Лонгинов, комментируя басню И. А. Крылова «Лжец», приводил анекдот на тему громадной рыбы, когда разоблачителем суперлгуна непосредственно в жизни оказывался сам баснописец:

Анекдот, который рассказан при басне XLIX «Лжец», происходил в Петербургском Английском клубе и именно следующим образом.

Копьев, автор комедии «Лебедянская ярмарка», говорил за обедом, будто он ел огромную стерлядь, и прибавлял: «Она была

длиной вот как от меня до... вот как до Ивана Андреевича».

Крылов отодвинулся в бок и спросил Копьева:

— Не мешаю ли я вам?

(Лонгинов 1868: 1818)

Кстати, в крыловской басне «Лжец» вовсе нет образа огромной рыбы, так что прямая аналогия тут невозможна. Баснописец явно опирался не на какой-то конкретный анекдот, а на определенный комплекс фольклорных традиций, на устойчивые темы и образы анекдотов о небылицах. Все дело в наличии некоторой внутренней тенденции, в том, что сюжеты, связанные с типом сверхлгуна, не искусственно реконструировались и вводились в литературный быт конца XVIII — начала XIX века, а были живой, полноценной, органичной частью этого быта.



АНЕКДОТЫ О ПРОСТАКАХ

Выше мы попытались вкратце показать, как тип лгуна (хвастуна) и концентрируемые вокруг него фольклорные тексты, социально и эстетически переакцентированные, становились фактом русской культурной жизни конца XVIII — начала XIX века.

Обратимся теперь к другой крупнейшей разновидности анекдота, на сей раз связанной с типом простака. Его феноменальная живучесть порождает целые серии шуток, проделок, мистификаций, забавных историй, которые самым естественным образом сплетаются в особые анекдотические эпосы. Но когда заговариваешь о простаке, совершенно необходимо тут же вычленить еще одну группу персонажей. Это — насмешники, мистификаторы, «острословы-проказники». Все дело в том, что простак нуждается почти всегда в своем пародисте-разоблачителе.

В анекдотах о дураках (фактически это мнимые дураки), виртуозно обнажающих глупость окружающих, дураках-шутах, в центре повествования находится мастер на всевозможные проделки (наивность, простоватость, доверчивость основных объектов его работы лишь оттеняет стержневой образ, «играет» на него. В анекдотах же о простаках дурак (шут) тоже присутствует, но он уже не доминирует, главная его задача в том, чтоб дать возможность простаку раскрыться во всем блеске.

Как видим, смещение, а точнее, перестановка центра привели к тому, что вместо одного анекдотического эпоса, не отменяя его, вдруг вырастает другой. Имеющий свою собственную художественную установку. Тем не менее ряд общих черт меж двумя анекдотическими эпосами навсегда сохраняется. Но обратимся к анекдоту о простаках.

Корнями своими он уходит в глубокую древность. Видимо, едва ли не впервые он получил в сборнике грамматика Гиерокла «Филогелос». Обильное хождение анекдоты о простаках получили в средневековой повествовательной литературе — в фаблио, фацециях, шванках. Все это было еще на фольклорном или полufольклорном уровне. На рубеже перехода к эпохе Возрождения анекдоты о простаках были отфильтрованы, литературно переработаны в «Декамероне» Боккаччо.

Есть в «Декамероне» целый ряд новелл о живописцах. Художники Буффальмако, Бруно и Нелло ди Дино — лица вполне реальные. Кстати, о проделках Буфф-

фальмако писали также Саккетти и Вазари. Все эти художники у Боккаччо — острословы и мистификаторы, дурачащие и высмеивающие простаков, среди которых особенно были популярны, благодаря своей совершенно исключительной наивности и доверчивости, художник Каландрино и доктор Симоне, этими своими качествами взаимно дополняющие друг друга. Вот как эту неподражаемую парочку описал в свое время А. Н. Веселовский:

...два оригинала: художник Каландрино, недалекий, живущий в страхе своей жены, способный поверить всякой небылице, — и болонский доктор Симоне, такой же, как и он простак, только ученый. Что у них общее — это легко воспламеняющееся самомнение; потешники любят ими, бережно подходят к объекту анализа, поставят вопрос, поддадут, где надо, и тайные помыслы Каландрино и Симоне расцветают перед ними во в ей их откровенности: Каландрино считает себя неотразимым для женщин, Симоне млеет в сознании своей учености, обаяния и привлекательности.

(Веселовский 1915: 470)

Таково то классическое выражение, которое получили в литературе анекдоты о простаках. Оно весьма специфично, связано с бытом ренессансной Италии

и в то же время несет в себе несомненный типологический смысл. Более того, нам даже представляется, что характеристика Каландрино и Симоне, сделанная А. Н. Веселовским, по сути дает модель простака как героя особого анекдотического эпоса. В этом предстоит еще не раз убедиться.

Для начала расскажем о личности, которая представляла собою своего рода комбинацию художника Каландрино и доктора Симоне.

Имя Сальваторе Тончи (1756—1844) по праву принадлежит русской культуре первых десятилетий XIX века. У себя на родине, в Италии, он, видимо, когда-то был известен как поэт; во всяком случае именно за заслуги в области лирического творчества Тончи был избран членом академии *Arcadia* и президентом академии *de' Forti*.

Перебравшись в самом начале века в Россию, Тончи никогда ее более не покидал, став яркой, неповторимой фигурой в жизни русского общества. Особенно прославился он как живописец. Его кисти принадлежит роспись Вознесенского монастыря в Москве, а также портреты П. И. Багратиона, А. А. Безбородко, Е. Р. Дашковой, Г. Р. Державина. Ф. В. Ростопчина, А. В. Суворова и других. Портреты работы Тончи пользовались исключительной популярностью в среде российской знати. Но все-таки в первую очередь он был известен как богато одаренная, многогранная личность, как в высшей степени забавный собеседник и, наконец, как герой особого анекдотического эпоса, некогда отлично известного в «отставной столице» — Москве.

Что же делало фигуру Тончи (или Тончия, как тогда говорили) столь своеобразно привлекательной в глазах современников?

Очень выразительное свидетельство оставил в своих «Записках современника» С. П. Жихарев:

Он (Тончи. — *Е. К.*) занимал всю беседу. Удивительный человек! Кажется, живописец, а стоит любого профессора: все знает, все видел, всему учился. Толковал о политике, науках, современных открытиях, рассказывал разные анекдоты, один другого занимательнее.

(Жихарев 1955: 200)

Показательно, что, говоря о многогранности дарований Тончи, мемуарист особо выделил талант собеседника, то виртуозное владение искусством самой разносторонней беседы, которое вызывало к Тончи пристальный интерес.

Вышеприведенное свидетельство С. П. Жихарева дополняет и углубляет позднейшая характеристика, которую дал Тончи Н. Мельгунов:

Поэт, мыслитель, живописец и музыкант, он представлялся на дальнем севере каким-то обломком эпохи Возрождения.

(Мельгунов 1861: 8)

А вот свидетельство принципиально важное, даже ключевое для нас сейчас. А. Я. Булгакову, московскому почт-директору и своеобразному летописцу старой Москвы, принадлежит следующая зарисовка:

Он (Тончи. — *Е. К.*) был, несмотря на свои немолодые уже лета, ветрен, легковерен, имел высокое о себе мнение, сохранял всегда память о прежней своей красоте; как все итальянцы, он любил поболтать, побуффонить... По веселому и снисходительному своему нраву, Тончи не оскорблялся никогда шутками, которые другие позволяли себе над ним, но зато и мы не затыкали себе ушей, когда он начинал сам превозносить все свои таланты и преимущества.

(Булгаков 1904: 122)

Обратите внимание: получается, что был как бы заключен негласный уговор — Тончи милостиво принимал шутки и розыгрыши на свой счет, но зато и ему дозволялось развернуться во всем блеске бахвальства, не чинили препятствий свободному полету его пылкой фантазии.

Хочется сделать еще одно наблюдение. Свидетельство А. Я. Булгакова, воскрешая яркую, колоритную фигуру Тончи, фактически полностью соответствует той модели простака, которую мы видим в «Декаме-

роне» Боккаччо (вспомним определение А. Н. Веселовского).

Рассказы о шутках и проделках, связанных с именем Тончи, были в свое время весьма популярны в русском обществе, и воспринимались они в особом эстетическом ключе. При этом важно, что сам он, видимо, ощущал себя главным участником действия, а насмешки над собой и разного рода мистификации, думается, признавал вполне законными как необходимые реплики точно подыгрывающих ему партнеров. Возможно, он даже провоцировал подобные шутки и розыгрыши.

Характерно, например, что Тончи называл себя «московским Юпитером». Несомненно, то был вызов московским «острословам-проказникам», присяжным мистификаторам. И они откликались незамедлительно, шлифуя и оттачивая тот гиперболический образ, который предлагал Тончи.

Так, Ф. В. Ростопчин, близкий его приятель и одновременно комический антагонист, обычно представлял Тончи как «бессмертного философа» (тот еще был известен в великосветских гостиных забавными, остроумными беседами на темы мнимости всего существующего) и еще называл его «величайшим мужем всех времен». Ясно, что диктовалось это условиями игры, тем гиперболическим стилем, что задавал сам Тончи. При этом он вовсе не представлялся, не придумывал некий экстравагантный стиль жизни, он просто соотносил свое поведение с наиболее удобной,

естественной для себя формой, со всеми легко узнаваемой маской простака.

Иными словами, существовала совершенно реальная основа — необычайно пылкое воображение Тончи, феноменальная способность мгновенно предаваться страху, меланхолии и все это в сочетании с невероятным самомнением. Врожденный артистизм Тончи делал все эти проявления его натуры настолько яркими и эстетически значимыми, что на них невозможно было не реагировать. И москвичи реагировали, подчас изысканно и остроумно, дабы соответствовать объекту пародирования.

Вот один из примеров. Известно, что в войну 1812 года «одержимый страхом, разными странными и нелепыми мыслями и страшась истязаний, представлявшихся воображению его, Тончи решился упредить своих убийц и, вынув из записной своей книжки перочинный ножик, решился перерезать себе горло, но не умел или не смог довершить роковое свое намерение» (*Булгаков 1904: 124*). Тончи боялся, что его примут за французского шпиона и совершат над ним расправу. Не исключено, что этот страх искусно подогревался Ф. В. Ростопчиным, в пору 1812 года известным гонителем французов и раздувателем шпиономании. Будучи московским военным губернатором, он посадил на баржу целую группу живших в Москве французов и отправил прочь из города. Тончи же он просто припугнул, но сильно; пылкое же воображение живописца довершило дело. Хотел он в самом деле покон-

читать самоубийством или нет, неизвестно, но страшный испуг имел место, и Тончи об этом потом создал целый рассказ.

Случай с Тончи приобрел известность и не раз обсуждался в московских гостиных. А Ф. В. Ростопчин устроил из этого самый настоящий спектакль или по крайней мере остроумную сценку:

Граф Ростопчин заставлял не один раз московского Юпитера рассказывать странный этот эпизод, но никто из нас не мог никогда понять, что могло послужить поводом к такой отчаянной решимости. Тончи заключал обыкновенно темный свой рассказ теми словами:

— Может быть, Провидение хотело доставить случай написать прекрасную эпическую поэму. И действительно, я видел себя тогда в положении совершенно необыкновенном: я находился между жизнью, смертью и вечностью; я держал в руке моей горловую жилу и слабый ножик, который должен был прекратить все мои страдания и бедствия; я видел минуту, в которую должны были слиться эти три капли: жизнь, смерть и вечность!..

Граф Федор Васильевич (Ф. В. Ростопчин. — Е. К.) разливал обыкновенно сам при

конце обеда какое-нибудь сладкое вино. Обращаясь один раз к Тончи, он сказал ему:

— Позвольте мне, бессмертный философ, вам смешать в рюмке вашей те бессмертные три капли, которые в злосчастное некогда время угрожали прекратить жизнь одного из величайших мужей новейших времен!

Тончи прежде всех начал смеяться шутке графа Ростопчина.

(Булгаков 1904: 124—125)

Обратите внимание: текст построен на обыгрывании репутации человека, мнящего себя великим мыслителем, но при этом оказывающегося в жизни необычайно легковверным и доверчивым.

И вот что еще любопытно — финальная реплика Ростопчина буквально врезается в поток внешне глубокомысленных рассуждений Тончи, и тут же вся претенциозность «бессмертного философа» улечувивается, его образ смещается в бытовой, даже пародийно-гротескный план. Финальная реплика стряхивает с образа Тончи мнимую глубокомысленность, и под маской философа оказывается веселый, забавный простак, герой старинных анекдотов, которого Боккаччо перевел из средневекового мира в новое социально-эстетическое измерение.

Перед нами чрезвычайно показательный пример того, как международный фольклорный образ проста-

ка включался в систему русской дворянской культуры конца XVIII — начала XIX века. Кстати, Тончи интересен еще и тем, что он ведь был в московском обществе как бы живым воплощением духа итальянского Возрождения.

Однако рядом с типом простака, перенесенным на русскую почву извне, были тогда и личности, явно перекликавшиеся с «поведенческой маской» Тончи, но органично выросшие при этом из самой русской почвы. Об этом и пойдет сейчас речь.

На протяжении первых десятилетий XIX столетия в московском обществе имел довольно активное хождение круг особых историй. В центре этих историй находились фигуры двух писателей, родственников и одновременно приятелей-антагонистов, устойчивые репутации которых были непосредственно связаны с традиционной парой «насмешник — простак». Это — Алексей Михайлович и Василий Львович Пушкины, герои популярного некогда анекдотического эпоса, который в целостном виде так и не был, увы, до сих пор реконструирован. Попытаемся теперь восстановить хотя бы общие его очертания.

Вот зарисовка с натуры, сделанная К. Н. Батюшковым:

(А. М. Пушкин) с утра самого искал кого-нибудь, чтоб поспорить, и доказывал, с удивительным красноречием, что белое — черное, черное — белое, который вздохнуть не да-

вал Василию Львовичу и теснил его неотразимой логикой.

(Батюшков 1886: 268—269)

Колкий, склонный к парадоксам ум одного и добродушие и доверчивость второго составляли неперемennую особенность быта старой Москвы. Характеры этих двух личностей с наибольшей полнотой и яркостью раскрывались во взаимных столкновениях, в пародийных литературных битвах, что как раз и явилось почвой для появления двух легендарных репутаций, которые в сознании современников существовали всегда рядом, как контрастная пара.

Далеко не случайно П. А. Вяземский заметил, сообщая о смерти А. М. Пушкина:

Бедный и любезный наш Алексей Михайлович умер и снес в могилу неистощимый запас шуток своих на Василья Львовича. Не выдавши их вместе, ты точно можешь пожалеть об утрате оригинальных и высококомических сцен.

(Пушкин 1937: 181)

Существенно, что давая общую оценку личности А. М. Пушкина, П. А. Вяземский рассматривает ее в прямом соотношении с личностью В. Л. Пушкина, говорит о дуэте, о высококомических сценах, подчеркивает, что надобно было видеть и слышать их вместе,

дабы оценить в полной мере всю прелесть их оригинальности и культурной значимости.

Рассказ об этом весьма популярном в свое время «дуэте» необходимо предварить небольшой справкой об А. М. Пушкине, имя которого к настоящему времени практически совершенно забыто.

Алексей Михайлович Пушкин (1769—1825) дилетантствовал в поэзии и театральных переводах, был известен он и как актер-любитель. Но для нас сейчас представляют интерес не отдельные стороны его литературной деятельности, в общем-то не выходявшей за пределы домашнего творчества, а сам он как культурный тип. Кстати, в «допожарной Москве» прежде всего были на виду не столько его литературные сочинения, сколько он сам, фигура необыкновенно колоритная.

Годы своего детства и отрочества А. М. Пушкин находился на попечении куратора Московского университета И. И. Мелисина. Тогда, в атмосфере интенсивного приобщения к европейским культурным ценностям, и утвердились, оформились определяющие черты его личности:

Алексей Михайлович получил образование
в духе философии XVIII века и впоследствии
стал отъявленным вольтерианцем...

(Батюшков 1886: 686)

То было, конечно, вольнодумство особого толка, вольнодумство согласно понятиям барской Москвы,

но тем не менее в нем явственно был ощутим и опыт французской философии XVIII века, и уроки европейской политической истории. Вообще необходимо постоянно учитывать, что тесное переплетение черт, идущих от старомосковского быта и шире — от комплекса национального балагурства, с чертами тонкого, рафинированного европеизма находило в личности А. М. Пушкина самое непосредственное выражение.

При всей изысканности, отфильтрованности своей речи, он сохранил вкус к грубовато-резкому, сочному «красному словцу». Производило это особый, неповторимый эффект. Обратимся к следующему мемуарному свидетельству, во многих отношениях чрезвычайно показательному:

Он (А. М. Пушкин. — Е. К.) говорил, что Расин — скотина. Это слово «скотина», которое не сходило у него с языка, или, правильнее, поминутно сходило, может дать подумать не знавшим его, что он был несколько грубой и цинической натуры. Вовсе нет: во всем прочем отличался он изящною вежливостью, мог бы быть образцовым маркизом при старом Версальском дворе. Эти противоположности придавали заманчивое своеобразие всей постановке его.

(Вяземский 1883: 176—177)

Итак, не было ничего натянутого, натянутого, эклектичного, внутренне несоединимого в экстравагантном поведении А. М. Пушкина, который был одновременно московским баринoм и подлинным европейцем. Показательно, что в его парадоксальных выходах не было ни малейшей позы. Вновь представим слово П. Я. Вяземскому:

Трудно определить его (А. М. Пушкина. — Е. К.): одно можно сказать, что он был соблазнительно-обворожителен. Бывало, изъяснит он мнение, скажет меткое слово, нередко с некоторым цинизмом, и то и другое вразрез мнениям общепринятым, и все это выразит с такою энергическою и забавною мимикой, что никто не возражает ему, а все увлекаются взрывом неудержимого смеха... И все это делал он и говорил вовсе не из желания казаться странным, оригинальным, рисоваться. Он был необыкновенно прост в обхождении: нет, он был таковым потому, что таков был склад ума его.

(Вяземский 1882: 396)

Приведенное свидетельство убедительно показывает, насколько ограничен был А. М. Пушкин, мистифицируя, обнажая, высмеивая простаков, Вообще его пародийно-эксцентрический поведенческий стиль функционально во многом близок проделкам и ост-

роумным ответам того фольклорного дурака, который высвечивает, выявляет глупость окружающих.

Неслучайно практически все сохранившиеся рассказы об А. М. Пушкине строятся на принципе обнажения, гротескного подчеркивания чьей бы то ни было наивности, доверчивости, строятся на принципе оголения, раздевания реальности, когда условности, этикетные нормы поведения даже не отбрасываются, а необычайно заостряются, доводятся до абсурда.

А. М. Пушкин в своем устном творчестве виртуозно обрабатывал, шлифовал, доводил до полного блеска глупость московских литераторов, изящно и дерзко мистифицировал простаков, живо, достоверно, убедительно демонстрировал скрытые механизмы человеческого поведения. Вот две характерные устные новеллы Алексея Михайловича:

А. М. Пушкин забавно рассказывает один эпизод из своей военной жизни.

В царствование императора Павла командовал он конным полком в Орловской губернии. Главным начальником войск, расположенных в этой местности, было лицо, высокопоставленное по тогдашним обстоятельствам и немецкого происхождения. Пушкин был с ним в наилучших отношениях, как по службе, так и по условиям общительности.

Однажды и совершенно неожиданно получает он, за подписью начальника, строжайший выговор, изложенный в выражениях довольно оскорбительных. Пушкин тут же подает рапорт о сдаче полка по болезни своей старшему по нем штаб-офицеру и просит о совершенном своем увольнении. Начальник посылает за ним и спрашивает о причине подобного поступка.

— Причина тому, — говорит Пушкин, — кажется, довольно ясно выражена в бумаге, которую я от вас получил.

— Какая бумага?

Пушкин подает ему полученный выговор. Начальник прочитывает его и говорит:

— Так эта-то бумага вас огорчила? Удивляюсь вам! Служба одно, а канцелярия другое. Какую бумагу подаст мне она, я ту и подписую. Службою вашею я совершенно доволен и впредь прошу вас, любезнейший Пушкин, не обращать никакого внимания на подобные глупости;

А. М. Пушкин спрашивал путешествующего англичанина:

— Правда ли, что изобрели в Англии машину, в которую вводят живого быка и полтора часа спустя подают из машины выде-

ланные кожи, готовые бифтексы, гребенки, сапоги и проч.

— Не слышал, — простодушно отвечал англичанин, — при мне еще не было; вот уже два года, что я разъезжаю по твердой земле. Может быть, эта машина изобретена без меня.

(Русский литературный анекдот 1990: 129—130)

Если А. М. Пушкину был близок фольклорный дурак, который выводит на свет божий глупость, простоватость, наивность окружающих, то поведенческому стилю В. Л. Пушкина родственен фольклорный дурак, которого отличает феноменальная наивность, тот дурак, над которым потешаются. Таким образом, двое Пушкиных блистательно реализовали те две основные возможности, которые дает фольклорная модель дурака.

А. М. Пушкин ориентировался на тип шута, балагура, В. Л. Пушкину пришлось впору роль простака. Они оба были очень нужны друг другу. А. М. Пушкин придавал забавным проявлениям личности своего родственника особую остроту и пикантность, а В. Л. Пушкин, в свою очередь, представлял для своего насмешника-антагониста благодатнейший материал.

Почему же Василий Львович был столь необходим для известного в старой Москве мистификатора и забавника? Чтобы разобраться в этом, остановимся подробнее на фигуре В. Л. Пушкина.

В русском литературном быту начала XIX века он занимал свое особое место. Классик по убеждениям, как поэт писавший гладко и чисто, В. Л. Пушкин выделялся тем, что пылко, даже слишком пылко защищал свою творческую позицию, будучи настолько серьезен, и это при мелкотемности своего творчества, что страстно хотелось его пародировать. Кроме того, сильный игровой интерес вызывал самый облик Василия Львовича плюс характерная манера его поведения.

Дело все в том, что В. Л. Пушкин очень уж любил пофорсить, одевался по последней парижской моде, считая себя щеголем и совершенно неотразимым для женщин, и все это при весьма забавной фигуре, в которой современники выделяли «косое брюхо», — на самом деле неотразим Василий Львович был лишь в собственных глазах. Комический эффект возникал сам собой, а при соответствующей работе насмешников-мистификаторов тем паче.

Итак, специфический внешний облик, весьма забавный, одновременно неумеренное модничанье и тяга ко всяческим самообольщениям — вот основа образа Василия Львовича, который был лакомым кусочком для многих, и особенно для Алексея Михайловича.

А. М. Пушкин навел на своего родственника-приятеля уже финальный, вершинный лоск, а вот потешались над Василием Львовичем весьма многие. Обратимся сейчас к чрезвычайно любопытной переписке двух московских барышень, которая была в свое вре-

мя опубликована под названием «Грибоедовская Москва в письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской 1812—1816 годов». В письме от 2 февраля 1814 года В. Л. Пушкину дается следующая характеристика:

Бедный человек, что ему ни скажи, он всему верит, оттого его очень часто мистифицируют. Прошлый раз Вяземский, Алексей Пушкин и Левашов взялись уверять его, что, судя по некоторым из моих речей, я более чем в восторге от его особы. Сначала он начал самодовольно посмеиваться с видом, показывающим, что он отчасти верит их словам, и, наконец, благодаря старанию этих господ, окончательно убедился в справедливости их рассказа... Мне заранее представляется сдержанный смех, сияющая физиономия и т. д. Он страшно растолстел и сделался крайне безобразен...

(Волкова-Ланская 1874: 554—555)

Приведенное свидетельство весьма симптоматично. Оно вводит в самый процесс мистифицирования В. Л. Пушкина. Кроме того, в нем живо и точно воссозданы некоторые черты личности, как раз и образующие комплекс простака: крайняя наивность, доверчивость в сочетании с забавной уверенностью в своей неотразимости, не имеющее никаких оснований под собою желание покрасоваться, обольстить. Все эти

черты, выделенные, маркированные, осознанные как некий центр личности,

стали основой для постепенно слагавшегося пародийного типа с устойчивой комической репутацией. Естественно поэтому, что реальную личность В. Л. Пушкина окружала атмосфера забавных историй и остроумных розыгрышей, атмосфера творческой игры, ярких импровизаций.

Круг рассказов, циклизированных вокруг его имени и имени А. М. Пушкина, возник и утвердился на основе эстетически организованных эпизодов, принадлежащих русскому литературному быту начала XIX столетия. То была веселая и искрометная игра. П. А. Вяземский подметил по поводу комического союза двух родственников-антагонистов:

Все эти колкости были одне веселые вспышки и не посягали на дружеские сношения двух родственников и приятелей. Это были комические сцены, разыгрываемые на домашнем театре, к удовольствию и гомерическому смеху благосклонных зрителей и слушателей.

(Вяземский 1866: 885)

Как уже упоминалось выше, в «комических сценах», помимо центральной пары В. Л. Пушкин — А. М. Пушкин, участвовал еще целый ряд персонажей, функция которых, надо полагать, была в своего рода подыгры-

вании. Зрители как бы втягивались в яркие импровизированные спектакли, начинали творить в рамках той эстетической системы, центром которой являлись шут и простаки, дурачащий и одурачиваемый.

Взаимоотношения двух родственников-приятелей во многом отличало выпучивание одним литературных опытов другого и наоборот (они ведь оба были поэты), хотя в большинстве случаев в наступательной позиции находился А. М. Пушкин, как того и требовала взятая им на себя роль, и это притом, что как стихотворец Василий Львович был гораздо более успешен.

Известно, например, что А. М. Пушкин, с присущим его разговору парадоксальным своеобразием, определял поэтическую продукцию В. Л. Пушкина как «жидень». Сохранился и такой эпизод:

Этот того, по обыкновению, дурачил и ругал.

— Кто тебя просил написать ко мне глупое посланье, да и напечатать еще его в твоих сочинениях, которые на всех навязываешь и никто их не берет? Это делает другой, такой же дрянной поэт, как ты, Хвостов; но этот, по крайней мере, сенатор, годится при случае, а ты ни к черту не годишься.

Смешнее всего, что Василий Львович серьезно все принимает и оправдывается.

(Булгаков 1901: 469)

Вся прелесть приведенного рассказа, безусловно, заключается в том, что Василий Львович принял за правду то, что было сказано в шутку. В отличие от Д. И. Хвостова, творения которого страдали нелепостью образов и звуковой какафонией, он писал легко и гладко, графоманом отнюдь не был. Тем не менее В. Л. Пушкин отнесся к словам известного насмешника совершенно серьезно. Поэтому-то он и оправдывался. А то, что речь шла о делах литературных, должно было придать интонациям В. Л. Пушкина, всегда пылкого в выражении своих творческих пристрастий, оттенок особой взволнованности и исключительной серьезности, что в общем пародийном ключе ситуации было особенно забавно.

При этом следует учитывать, что циркулировавшие в московском обществе рассказы о В. Л. Пушкине не просто были пронизаны литературными темами — в целом ряде случаев они из фактов быта просто переходили в ранг литературы.

Однажды А. М. Пушкин распустил слух о смерти своего родственника и приятеля. Василий Львович, при всем своем легендарном долготерпении, не выдержал и обиделся. В результате появилось стихотворение «На случай шутки А. М. Пушкина, который утверждал, что я умер». Оно было напечатано в 1815 году в «Российском музее». Приведем фрагменты из этого любопытного поэтического творения, явившегося серьезным ответом на забавный розыгрыш. Можно даже сказать, что стихотворение яви-

лось истинной кульминацией пародийной ситуации. Мистифицируя Москву и литературный мир обеих столиц слухом о смерти Василия Львовича, А. М. Пушкин как раз и стремился вырвать у своего родственника-антагониста признание наисерьезнейшее, лишенное и тени улыбки и иронии, что, собственно, и вызвало бурную комическую реакцию публики:

Я умер для бесед, где карточной игрой
Здоровье, разговор и время убивают,
Я умер и для тех, где ближних в час иной
Поносят и ругают.

.....
Однофамилец мой, как хочет, рассуждает,
Но, вопреки словам его,
В душе своей он точно знает,
Что жить еще хочу и жив я для него.

(Пушкин 1822: 143)

Как не заимствовал ни у кого свой парадоксальный, острый ум А. М. Пушкин, так и В. Л. Пушкин не подражал чьей бы то ни было бесхитростности, пылко воспламеняющемуся сомнению, способности поверить во всякую небылицу. Просто две эти фигуры представляют собой два своеобразных, специфических варианта типов насмешника и простака.



Воссоздавая мир русского анекдота конца XVIII — начала XIX века, мы вычленили несколько типов (дурак, простак, лгун), вокруг каждого из которых был сконцентрирован свой особый репертуар сюжетов.

Теперь возьмем один тип из этой «триады», а именно лгуна, и попробуем детально реконструировать один анекдотический эпос, который возник и функционировал в России в пушкинскую эпоху. Воссоздадим устную книгу о «русском Мюнхгаузене».



ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ ПЕРВОЙ



Приложение первое
АНЕКДОТЫ ОБ А. Д. КОПЬЕВЕ

*М*осква всегда была обильна девицами. В Москве также проживали три или четыре сестрицы. Дом их был на улице — нет, не скажу, на какой улице. Всякий день каждая из них сидела у особенного окна и смотрела на проезжающих и на проходящих, может быть выглядывая суженого.

Какой-то злой шутник — может быть, Копьев — сказал о них: «На каждом окошке по лепешке».

Так и помню, что в детстве моем слышал я о княжнах-лепешках. Другого имени им и не было.

(Вяземский 1883: 467)



Копьев был столько же известен в Петербурге своими остротами и проказами, сколько и худобою своей крепостной и малокормленной четверни.

Однажды ехал он по Невскому проспекту, а Сергей Львович Пушкин шел пешком по тому же направлению. Копьев предлагает довести его.

— Благодарю, — отвечает тот, — но не могу: я спешу.

(Вяземский 1883: 157)



Приложение второе
Л. А. и А. Л. НАРЫШКИНЫ —
ОСТРОСЛОВЫ

Л. А. НАРЫШКИН

На одном из Эрмитажных собраний Екатерина за что-то рассердилась на (Льва) Нарышкина и сделала ему выговор. Он тотчас же скрылся. Через несколько времени императрица велела дежурному камергеру отыскать его и позвать к ней. Камергер донес, что Нарышкин находится на хорах между музыкантами и решительно отказывается сойти в залу. Императрица послала вторично сказать ему, чтобы он немедленно исполнил ее волю.

— Скажите государыне, — отвечал Нарышкин посланному, — что я никак не могу показаться в таком многолюдном обществе с намыленной головой.

(Русские эксцентрики и остряки 1859: 41)

В 1787 году императрица Екатерина Вторая, возвращаясь в Петербург из путешествия на юг, проезжала через Тулу. В это время, по случаю неурожая предыдущего года, в Тульской губернии стояли чрезвычайно высокие цены на хлеб и народ сильно бедствовал. Опасаясь огорчить такую вестью государыню, тогдашний тульский наместник генерал Кречетников решился скрыть от нее грустное положение вверенного ему края и донес противное.

По распоряжению Кречетникова, на все луга, лежавшие по дороге, по которой ехала императрица, были собраны со всей губернии стада скота и табуны лошадей, а жителям окрестных деревень велено встречать государыню с песнями, в праздничных одеждах, с хлебом и солью. Видя всюду наружную чистоту, порядок и изобилие, Екатерина осталась очень довольна и сказала Кречетникову:

— Спасибо вам, Михаил Никитич, я нашла в Тульской губернии то, что желала бы найти и в других.

К несчастью, Кречетников находился тогда в дурных отношениях с одним из спутников императрицы, обершталмейстером Л. А. Нарышкиным, вельможей, пользовавшимся особым ее расположением и умев-

шим, под видом шутки, ловко и кстати высказать ей правду.

На другой день по приезде государыни в Тулу Нарышкин явился к ней рано утром с ковригой хлеба, воткнутой на палку, и двумя утками, купленными им на рынке. Несколькими изумленная такой выходкой, Екатерина спросила его:

— Что это значит, Лев Александрович?

— Я принес вашему величеству тульский ржаной хлеб и двух уток, которых вы жалуете, — отвечал Нарышкин.

Императрица, догадавшись, в чем дело, спросила: почему за фунт покупал он хлеб?

Нарышкин доложил, что платил за каждый фунт по четыре копейки.

Екатерина недоверчиво взглянула на него и возразила:

— Быть не может! Это неслыханная цена! Напротив, мне донесли, что в Туле печеный хлеб не дороже копейки.

— Нет, государыня, это неправда, — отвечал Нарышкин, — вам донесли ложно.

— Удивляюсь, — продолжала императрица, — как же меня уверяли, что в здешней губернии был обильный урожай в прошлом году?

— Может быть, нынешняя жатва будет удовлетворительна, — возразил Нарышкин, — а теперь пока голодно.

Екатерина взяла со стола, у которого сидела, писанный лист бумаги и подала его Нарышкину. Он пробежал бумагу и положил ее обратно, заметив:

— Может быть, это ошибка... Впрочем, иногда рапорты не достовернее газет.

(Москвитянин 1842: 475—488)

По вступлении на престол императора Павла состоялось высочайшее повеление, чтобы президенты всех присутственных мест непременно заседали там, где числятся по службе.

Нарышкин, уже несколько лет носивший звание обер-шталмейстера, должен был явиться в придворную конюшенную контору, которую до того времени не посетил ни разу.

— Где мое место? — спросил он чиновников.

— Здесь, ваше превосходительство, — отвечали они с низкими поклонами, указывая на огромные готические кресла.

— Но к этим креслам нельзя подойти, они покрыты пылью! — заметил Нарышкин.

— Уже несколько лет, — продолжали чиновники, — как никто в них не сидел, кроме кота, который всегда тут покоится.

— Так мне нечего здесь делать, — сказал Нарышкин, — мое место занято.

С этими словами он вышел и более уже не показывался в контору.

(Словарь достопамятных людей 1847: 484)

А. Л. Нарышкин

На берегу Рейна предлагали А. Л. Нарышкину взойти на гору, чтобы полюбоваться окрестными живописными картинами.

— Покорнейше благодарю, — отвечал он, — с горами обращаюсь как с дамами: пребываю у их ног.

(Вяземский 1883: 137)



— Отчего ты так поздно приехал ко мне, — спросил его раз император.

— Без вины виноват, ваше величество, — отвечал Нарышкин, — камердинер не понял моих слов: я приказал ему заложить карету; выхожу — кареты нет. Приказываю подавать — он подает мне пук ассигнаций. Надобно было послать за извозчиком.

(Исторические рассказы и анекдоты 1885: 284)



Раз при закладе одного корабля государь спросил Нарышкина:

— Отчего ты так невесел?

— Нечему веселиться, — отвечал Нарышкин, — вы, государь, в первый раз в жизни закладываете, а я каждый день.

(Замечательные чудаки и оригиналы 1898: 113)



Сын Нарышкина, генерал-майор, в войну с французами получил от главнокомандующего поручение удержать какую-то позицию. Государь сказал Александру Львовичу:

— Я боюсь за твоего сына: он занимает важное место.

— Не опасайтесь, ваше величество, мой сын в меня: что займет, того не отдаст.

(Русский архив 1864: 872)



Умирая на смертном одре, А. Л. Нарышкин сказал:

— В первый раз отдаю долг — природе.

(Старая Москва 1891: 245)



Приложение третье

ИЗ АНЕКДОТОВ ОБ А. М. ПУШКИНЕ

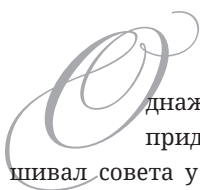
*С*ри А. М. Пушкине говорили о деревенском поверии, что тараканы залезают в ухо спящего человека, пробираются до мозга и выедают его.

— Как я этому рад, — прервал Пушкин, — теперь не буду говорить про человека, что он глуп, а скажу: обидел его таракан.

(Вяземский 1883: 167)



Приложение четвертое
АНЕКДОТЫ ОБ И. А. КРЫЛОВЕ

 Однажды Крылов собирался на придворный маскарад и спрашивал совета у Елисаветы Марковны Олениной и ее дочерей. Варвара Алексеевна по этому случаю сказала ему:

— Вы, Иван Андреевич, вымойтесь да причешитесь, и вас никто не узнает.

(Крылов 1982: 154)



Он (И. А. Крылов. — *Е. К.*) любил быть в обществе людей, им искренне уважаемых. Он там бывал весел и вмешивался в шутки других. За несколько лет перед сим, зимой, раз в неделю, собирались у покойного А. А. Перовского, автора «Монастырки».

Гостеприимный хозяин, при конце вечера, предлагал всегда гостям своим ужин. Садились немногие, в числе их всегда был Иван Андреевич.

Зашла речь о привычке ужинать. Одни говорили, что никогда не ужинают, другие — что перестали давно, третьи — что думают перестать.

Крылов, накладывая на свою тарелку кушанье, промолвил тут:

— А я, как мне кажется, ужинать перестану в тот день, с которого не буду обедать.

(Крылов 1982: 199—200)



Была у него однажды рожа на ноге, которая долго мешала ему гулять, и с трудом вышел он на Невский.

Вот едет мимо приятель и, не останавливаясь, кричит ему:

— А что, рожа прошла?

Крылов же вслед ему:

— Проехала!

(Крылов 1982: 269)



Царская семья благоволила к Крылову, и одно время он получал приглашения на маленькие обеды к императрице и великим князьям...

Крылов, оглядываясь и убедившись, что никого нет вблизи, ответил:

— Что царские повара! С обедов этих никогда сытым не возвращался. А я также прежде так думал — закромят во дворце. Первый раз поехал и соображаю: какой уж тут ужин, — и прислугу отпустил. А вышло что? Убранство, сервировка — одна краса! Сели — суп подают: на доньшке зелень какая-то, морковки фестолами нарезаны, да все так на мели и стоит, потому что супу-то самого только лужица. Ей-богу, пять ложек всего набрал. Сомнение взяло: быть может, нашего брата писателя лакеи обносят? Смотрю — нет, у всех такое же мелководье. А пирожки? — не больше грецкого ореха. Захватил я два, а камер-лакей уже удирать норовит. Попридержал я его за пуговицу и еще парочку снял. Тут вырвался он и двух рядом со мною обнес. Верно, отставать лакеям возбраняется. Рыба хорошая — форели; ведь гатчинские, свои, а такую мелюзгу подают — куда меньше порционного! Да что тут удивительного, когда все, что покрупней, торговцам спускают. Я сам у Каменно-

го моста покупал. За рыбою пошли французские финтифлюшки. Как бы горшочек опрокинутый, студнем облицованный, а внутри и зелень, и дичи кусочки, и трюфелей обрезочки — всякие остаточки. На вкус недурно. Хочу второй горшочек взять, а блюдо-то уж далеко. Что же это, думаю, такое? Здесь только пробовать дают? Добрались до индейки. Не плошай, Иван Андреевич, здесь мы отыграемся. Подносят. Хотите верьте или нет — только ножки да крылушки, на маленькие кусочки обкромленные, рядушком лежат, а самая-то птица под ними припрятана и нерезаная пребывает. Хороши молодчики! Взял я ножку, обглодал и положил на тарелку. Смотрю кругом. У всех по косточке на тарелке. Пустыня пустыней. Припомнился Пушкин покойный: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» И стало мне грустно-грустно, чуть слеза не прошибла... А тут вижу — царица-матушка печаль мою подметила и что-то главному лакею говорит и на меня указывает... И что же? Второй раз мне индейку поднесли. Низкий поклон я царице отвесил — ведь жалованная. Хочу брать, а птица так неразрезанная и лежит. Нет, брат, шалишь — меня не проведешь: вот так нарежь и сюда принеси, говорю камер-лакею. Так вот фунтик питательного

и заполучил. А все кругом смотрят — завидуют. А индейка-то совсем захудалая, благородной дородности никакой, жарили спозаранку и к обеду, изверги, подогрели! А сладкое! Стыдно сказать... Пол-апельсина! Нутро природное вынуто, а взамен желе с вареньем набито. Со злости с кожей я его и съел. Плохо царей наших кормят, — надувательство кругом. А вина льют без конца. Только что выпьешь — смотришь, опять рюмка стоит полная. А почему? Потому что придворная челядь потом их распивает. Вернулся я домой голодный-преголодный... Как быть? Прислугу отпустил, ничего не припасено... Пришлось в ресторацию ехать. А теперь, когда там обедать приходится, — ждет меня дома всегда ужин. Приедешь, выпьешь рюмочку водки, как будто вовсе и не обедал...

(Крылов 1982: 275—276)



Глава вторая

«РУССКИЙ МЮНХГАУЗЕН»

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ



ТРАДИЦИИ АНЕКДОТОВ-НЕБЫЛИЦ И КНИГА О «РУССКОМ МЮНХГАУЗЕНЕ»

азнообразный, многополюсный мир народного творчества включает в себя целую группу интернациональных сюжетов о невероятных реальных происшествиях (анекдоты-небылицы). В сфере художественной литературы сюжеты эти обычно систематизируются и концентрируются вокруг определенной личности, часто исторически вполне реальной. В итоге формируется легендарная биография популярного рассказчика и острослова, суперлуна, автора смелых фантазий и забавных историй.

У такого рода повествования, помимо книг Э. Распе и Г. Бюргера о бароне Мюнхгаузене, есть еще один литературный предшественник «мюнхгаузениад» — «Фацетии» Генриха Бебеля (1472—1518). В этом сборнике целая группа текстов непосредственно восходит к народным анекдотам-небылицам. Вот что пишет об этой части «Фацетий» современный исследователь:

Интересны лживые истории, рассказанные Бебелем в «Фацетиях». Интересны они тем, что в них Бебель дает не ложное или ошибочное представление о действительности, а нарочитый, специальный смешной обман. Лживые рассказы он нередко вносит в правдоподобную, реальную ситуацию. В лживых историях Бебеля впервые в литературе появляется специальный герой-враль — кузнец из Каннштадта, место которого позднее, в XVIII веке, занял знаменитый барон Мюнхгаузен.

(Каган 1970: 281)

Добавим: барон Мюнхгаузен, в отличие от кузнеца из Каннштадта, был совершенно реальной исторической личностью, что придало циклизированным вокруг него текстам совершенно особый колорит. У Бебеля еще нет такого документально засвидетельствованного героя, вносящего в анекдоты-небылицы тонко рассчитанный элемент достоверности. Однако в «Фацетиях» Генриха Бебеля уже достаточно четко различимы черты выработанной, отшлифованной поэтики невероятной забавной истории (сознательная ориентация на «нарочитый, специальный смешной обман» как раз и создает особый эстетический эффект) и самый тип рассказчика-враля.

В «Удивительных приключениях барона Мюнхгаузена» все это было впоследствии развернуто и углуб-

лено. Причем в высшей степени показательно, что в книгах Э. Распе и Г. Бюргера Мюнхгаузен определяется не просто как суперлжец, а как «каратель лжи». Данная формула имеет чрезвычайно важное значение для понимания этого образа, для уяснения его типологической роли.

Названная формула абсолютно точна, ведь барон не просто предается причудливому и прихотливому фантазированию: он пародирует, доводит до гротеска и абсурда способность человека прилгнуть, прихвастнуть. Поэтому с полным основанием можно говорить, что невероятные истории барона Мюнхгаузена — это не ложь в собственном смысле слова, ибо на самом деле они разоблачают ложь, выставляя ее в неприглядном и откровенно комическом виде. Такова общая эстетико-воспитательная концепция образа.

Весьма любопытный и даже оригинальный вариант книги о Мюнхгаузене, то есть такой именно книги, в центре которой находится образ суперлгуна, был создан в Москве в конце XVIII — первых десятилетиях XIX века неподражаемым рассказчиком князем Дмитрием Евсеевичем Цициановым (1747—1835). Правда, этот текст, увы, в свое время не был записан в виде целостного, связного повествования, но реально он все же существовал, и существовал как единая структура, которая была сформирована не за счет общего сюжета, а прежде всего через личность рассказчика-супервраля как центра, скрепляющего наращиваемые эпизоды.

Устная книга (или, иначе говоря, анекдотический эпос) о «русском Мюнхгаузене» была в свое время очень популярна, ее знал и любил А. С. Пушкин, ее ценил Н. В. Гоголь. Реконструировать ее сейчас в принципе можно, хотя это и непросто. И воссозданный текст будет отличаться определенной неполнотой, но и в таком виде он должен иметь несомненное историко-литературное значение.

Итак, попробуем восстановить и представить «Русского Мюнхгаузена».



ЧТО МЫ ЗНАЕМ О Д. Е. ЦИЦИАНОВЕ?

Сохранившиеся сведения о Д. Е. Цицианове крайне скудны.

Как известно, в 1724 году грузинский царь Вахтанг Шестой эмигрировал в Россию. В его огромной свите, включавшей в себя более тысячи человек, находился и князь Яссе (Евсей) Цицишвили. Его сын Дмитрий и получил впоследствии известность как «русский Мюнхгаузен».

Судя по всему, он нигде никогда не служил, видя весь смысл своей жизни в ублажении москвичей роскошными обедами и великолепными «остроумными вымыслами». Известно и засвидетельствовано документальными данными только то, что Д. Е. Цицианов был основателем восстановленного в 1801 году (после отмены павловского запрета) Московского Английского клуба (впоследствии, в ознаменование этой заслуги, он был избран его пожизненным почетным чле-

ном) и масоном, членом ложи «Немезида» (*Извлечение из журналов 1889: 86—93; Письмо масонской ложи 1909: 174*).

Кроме того, небольшая зарисовка, касающаяся Д. Е. Цицианова, его кавказских корней и вообще некоторых семейных обстоятельств, находится в мемуарах А. О. Смирновой-Россет:

Во время Петра Великого царь Вахтанг просил подданства России во избежание нападков враждебной Персии и Турции. С ним приехало множество княжеских и некняжеских родов: Цициановы, Баратовы, Алигозаровы, Давыдовы, Эристовы и другие. У князя Евсевия (Цицианова. — Е. К.) и жены его был единственный сын, князь Дмитрий. Он сделался известен своим хлебосольством и расточительностью, да еще привычкой лгать вроде Мюнхгаузена. Он женился на побочной дочери царевича Александра Георгиевича и какой-то княгини или княжны Заборовской (этот род угас, и есть просто Заборовские). За ней он взял восемь тысяч душ в Нижегородской губернии; торговое село Катунки приносило огромный доход. За ней был дом, конечно, деревянный, в приходе Рождества в Кудринне. Это был целый квартал, и церковь была в саду, окружавшем этот дом. Дмитрий Ев-

сеевич сказал отцу: «Я ничего не беру из десяти тысячи десятин. Наплевать мне на эту дрянь! Земля отведена черт знает где, в каком-то пустыре безлюдном». Жизнь в Москве была слишком дорога для большого семейства, и они (родители Д. Е. Цицианова с дочерьми. — Е. К.) отправились в местечко Санжары (турецкое название), где жили реестровские казаки...

(Смирнова-Россет 1989: 77—78)

Этот мемуарный эпизод, при всей его скупости, чрезвычайно характеристичен, как нам кажется.

В нем очень ярко, выпукло, точно показано, как решительно и бесповоротно Дмитрий Евсеевич Цицианов избрал главной сферой своего обитания Москву, что, видимо, диктовалось неискоренимой потребностью его в постоянном, обширном, динамичном и эстетически наполненном общении.

Точнее говоря, рассказчику нужна была охочая до сплетен и диковинных историй московская публика, нужны были зрители и слушатели того оригинального действия, которое он творил из своей жизни. Поэтому огромный дом и обширнейшее имение в провинции его совершенно не устраивали, ибо мешали реализации книги о «русском Мюнхгаузене».

Это как будто все, что можно сказать о фактической основе сведений касательно Дмитрия Евсеевича. Скупое и скудное, но что есть, то есть.

Вся остальная информация о Цицианове может быть извлечена только из той анекдотической автобиографии, которую он выстраивал в свих устных рассказах и островах. Причём автобиография эта была им ярко и живо развёрнута на фоне барского старомосковского быта, представляя в весьма специфическом ракурсе мир «отставной столицы».

Итак, приступаем.



Грузин
КАК «РУССКИЙ МЮНХГАУЗЕН».
КАВКАЗСКИЕ АНЕКДОТЫ
В СИСТЕМЕ АНЕКДОТИЧЕСКОЙ
АВТОБИОГРАФИИ Д. Е. ЦИЦИАНОВА.
СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДАНИЯ

Цицианов по образу жизни и привычкам являлся истинным москвичом, даже сверхмосквичом (он был просто бешеный хлебосол), но принадлежность к старинному грузинскому роду определила одну из интереснейших тем его творчества, в котором происхождение рассказчика отразилось в трансформированной, резко гиперболизированной форме, в соответствии с поэтикой анекдота-небылицы.

Кстати, этот слой цициановских устных новелл важен не только потому, что дает очень интересное творческое преломление кавказского происхождения рассказчика.

Дело все в том, что этот круг текстов в пародийно-игровом ключе демонстрирует целый пласт быта барской Москвы, ведь в «отставной столице» была тогда

весьма разветвленная грузинская колония. Национальные традиции постепенно рассеивались, растворялись (шел процесс ассимиляции), но ощущение своей личности осталось, осталось чувство гордости своим древним происхождением. Цицианов представил данный психологический комплекс в откровенно гротескном ключе. Посмотрим, как он это делал.

Итак, кавказские устные новеллы Дмитрия Евсеевича Цицианова.

П. И. Бартенев со слов Аркадия Россета (брата А. О. Смирновой-Россет) записал следующий рассказ:

Он (Д. Е. Цицианов. — *Е. К.*) преспокойно уверял своих собеседников, что в Грузии очень выгодно иметь суконную фабрику, так как нет надобности красить пряжу: овцы рождаются разноцветными, и при захождении солнца стада этих цветных овец представляют собою прелестную картину.

(Русский архив 1889: 86)

Перед нами не столько полноценный цициановский текст, сколько его краткая, конспективная фиксация, точнее, запись финала анекдота, который представлял собою парадоксально-остроумное псевдообъяснение («овцы рождаются разноцветными»). Тем не менее и по такому сжатому свидетельству, думается, можно вполне реально представить основные черты этого «остроумного вымысла».

В первую очередь его характеризует условно кавказская тематика, являющаяся точкой отсчета для самого безудержного фантазирования. Цицианов родился в России. На Кавказе никогда не был. Но обо-жал рассказывать москвичам истории о кавказских диковинках. При этом он явно действовал по модели наивно-хвастливого повествования о дальних странах, которое было канонизировано в книгах Э. Распе и Г. Бюргера.

Сравните рассказ о разноцветных овцах с эпизодом из «Удивительных приключений барона Мюнхгаузена» (цитируем по первому русскому переводу, анонимному) — интересно, что там речь идет о северных странах, а Цицианов применил эту схему к описанию кавказских чудес:

Будучи в северных странах, выпросил я позволение взять с собою несколько лоз тамошнего винограда. В тех странах виноград столь велик и крупен, что один человек не в состоянии нести целой кисти, а носят их обыкновенно на палках двое.

(Не любо — не слушай 1811: 60)

Сохранилась запись еще одного цициановского анекдота, входившего в кавказский цикл (причем анекдот этот даже в еще большей степени восходит к модели рассказа о громадных кистях винограда, настолько громадных, что один человек даже не в состоянии

удержать их в руках). К счастью, запись эта намного более развернутая, чем первая. Перед нами уже настоящая устная новелла.

Текст опять-таки завершается тонким, острым, игривым псевдообъяснением, придающим всему «остроумному вымыслу» особую прелесть. Главную же тенденцию этого цициановского анекдота можно определить следующим образом.

Чем дальше богатая и прихотливая фантазия уводила рассказчика от реальности, тем сильнее и энергичнее стремился он представить воссоздаваемое событие как максимально правдоподобное. Но неизбежно наступали моменты, когда неумолимая логика должна была поставить рассказчика-вралю в тупик, однако острый, парадоксальный ум князя Цицианова тут же находил выход. В результате повествование обретало, наконец, свою пуанту; точнее говоря, бытовой эпизод становился полноценным текстом, превращался в эстетическое событие. Приведем знаменитый цициановский анекдот о пчелах:

Случилось, что в одном обществе какой-то помещик, слывший большим хозяином, рассказывал об огромном доходе, получаемом им от пчеловодства, так что доход этот превышал оброк, платимый ему всеми крестьянами, коих было с лишком сто в той деревне.

— Очень вам верю, — возразил Цицианов, — но смею вас уверить, что такого пчеловодства, как у нас в Грузии, нет нигде в мире.

— Почему так, ваше сиятельство?

— А вот почему, — отвечал Цицианов, — да и быть не может иначе; у нас цветы, заключающие в себе медовые соки, растут, как здесь крапива, да к тому же пчелы у нас величиною почти с воробья; замечательно, что когда оне летают по воздуху, то не жужжат, а поют, как птицы.

— Какие же у вас ульи, ваше сиятельство? — спросил удивленный пчеловод.

— Ульи? Да ульи, — отвечал Цицианов, — такие же, как везде.

— Как же могут столь огромные пчелы влетать в обыкновенные ульи?

Тут Цицианов догадался, что, басенку свою пересоля, он приготовил себе сам ловушку, из которой выпутаться ему трудно. Однако же он нимало не задумался.

— Здесь об нашем крае, — продолжал Цицианов, — не имеют никакого понятия. Вы думаете, что везде так, как в России? Нет, батюшка! У нас в Грузии отговорок нет: хоть тресни, да полезай!

(Булгаков 1904: 116)

Приведенное мемуарное свидетельство А. Я. Булгакова («Воспоминания о 1812 годе и вечерних беседах у графа Ростопчина») со всей очевидностью показывает, что буйная, неудержимая цициановская фантазия развертывалась именно как реакция на чье-то тривиальное хвастовство. Иными словами, подлинный герой повествования доводил ложь до полнейшего абсурда, беспощадно обнажал ее.

Так что Цицианов очень точно укладывается в мюнхгаузеновскую модель поведения. То была схема, которой спонтанно, а в целом ряде случаев и совершенно сознательно (ориентация на издание «Не любо — не слушай, а лгать не мешай») следовал «каратель лжи» старого московского барства. Но говорить о прямом подражании образу легендарного барона вряд ли имеет смысл, тем более что в анонимном русском переводе «Удивительных приключений барона Мюнгаузена» никакого барона и нет, все истории изложены от имени неизвестного повествователя. Но вернемся к князю Цицианову.

Дмитрий Евсеевич был натурой в высшей степени колоритной, очень даже заметной в пределах барской Москвы. Весьма своеобразен и приведенный рассказ о пчелах величиной с воробья, в свое время очень популярный. В нем живо и остроумно проявилась личность Цицианова, по-кавказски пылкая и темпераментная, склонная к преувеличенному хвастовству и парадоксам.

Вместе с тем нельзя не отметить, что сам сюжет об огромных пчелах, влетающих в обыкновенные ульи, отнюдь не является изобретением Цицианова — он известен по восточному фольклору (см.: *Двадцать три Насреддина* 1978: 235).

Так что можно представить дело таким образом: московский рассказчик, видимо зная соответствующий анекдот о Насреддине, взял его за основу, поменял среднеазиатский колорит на грузинский и импровизационно ввел великолепную итоговую формулу (вот это уже его, Цицианова, изобретение: «у нас в Грузии отговорок нет: хоть тресни, да полезай!»), которая преобразила весь текст, придала ему особую остроту и пикантность. И в итоге было создано весьма позабавившее москвичей блистательное гротескное повествование, в котором гипертрофированному заострению, эстетически наполненному обыгрыванию подвергся хвастливый рассказ помещика-пчеловода.

Помимо всего сказанного, цициановской версии сюжета об огромных пчелах присуща одна черта, чрезвычайно показательная для творческой манеры Дмитрия Евсеевича: в объяснении (как правило, финальном) тем больше претензий на правдоподобие, чем фантастичнее самый эпизод. То был устойчивый прием, имевший своей целью не ввести заблуждение зрителей, не обмануть, а произвести особый эффект, удивить, ошарашить, позабавить.

Напомним еще одну цициановскую пародийно-комическую формулу: «О, я умею очень ловко пробираться

ся между каплями дождя!» Она была знаменита в свое время и дожила даже до современного анекдота:

— Кто может пройти между струями дождя и выйти сухим?

— Микоян.

(Борев 1995: 70)

А вот исходный цициановский текст, зафиксированный в свое время П. А. Вяземским:

Во время проливного дождя является он (Д. Е. Цицианов. — Е. К.) к приятелю.

— Ты в карете? — спрашивают его.

— Нет, я пришел пешком.

— Да как же ты не промок?

— О, — отвечает он, — я умею очень ловко пробираться между каплями дождя.

(Вяземский 1883: 146)

Поразительным, даже невероятным обаянием финальная фраза этого знаменитого некогда цициановского анекдота восходит к Талмуду, к истории о мудреце Симеоне бен Шетахе, который при помощи своей хитрости поймал и затем казнил 80 колдуний:

Когда Симеон бен Шетах был избран в наси (глава Синедриона), пришли к нему и сказали:

— В пещере близ Аскалона скрываются 80 колдуний.

В один ненастный день собрал рав Симеон восемьдесят юношей, рослых и сильных, и велел им следовать за собою. Каждому из них он дал по одному кувшину со свернутым в нем чистым плащом. Юноши поставили кувшины опрокинутыми себе на головы, и рав Симеон сказал:

— Когда я крикну по-птичьему, накиньте на себя плащи, крикну вторично — бегите в пещеру и, схватив каждый по колдунье, поднимите их вверх, ибо таково свойство колдуна: отделишь его от земли — он ничего сделать не может.

Пошел рав Симеон и, став у входа в пещеру, стал звать, выкрикивая:

— Ойим! Ойим! (пароль у колдунов) Отоприте. Один из ваших я.

— А каким образом, — спрашивают колдуньи рава Симеона, также успевшего закутаться в сухой плащ, — ты в дождь сухой оказался?

— Я между каплями пробирался, — объяснил рав Симеон...

(Мудрецы Талмуда 2005: 9—10)

Вся «соль» цициановской устной миниатюры, восходящей к Талмуду, заключена в том, что невероятный

сюжет объяснен предельно просто, обыденно, без тени смущения, без желания прикрыть ложь или откаться от нее. Это как раз и делает анекдот подчеркнуто фантастичным и пикантным, невероятность текста оказывается маркированной.

В потемкинском цикле (о нем разговор впереди) сюжет о легкой, как пух, медвежьей шубе завершается сообщением о мужике, который знал секрет особой обработки мехов и унес его с собой в могилу.

Примеры легко можно было бы продолжить, ведь фактически в основе любого цициановского анекдота лежит невероятное и одновременно якобы реальное происшествие, причем реальность его в большинстве случаев еще особо оговаривается.

Иначе говоря, книга о «русском Мюнхгаузене» в первую очередь основана на достоверной подаче фантастического. Здесь многое способно прояснить обращение к личности автора и одновременно центрального персонажа созданного им своеобразного мозаичного повествования. Кое-что уже было сказано об этом; сделаем несколько дополнений и уточнений.

П. А. Вяземский называл Дмитрия Евсеевича «поэтом лжи». Живая, причудливая фантазия, пылкий темперамент, гордость своим происхождением приводили к тому, что Цицианову нужен был просто легкий толчок в виде исторического или даже чисто бытового события, чтобы смело, дерзко, остроумно воспарить над реальностью, одновременно делая вид, что, собственно, ничего особого и не происходит, что

все это совершенно естественно и чуть ли не тривиально.

Подчеркивая достоверность происшествия, он приводил самые неожиданные, нелепые даже аргументы, что в результате не столько убеждало в правдивости излагаемого события, сколько вызывало особую эстетическую реакцию, которая выражалась если не в восторге, то хотя бы в изумлении и смехе. На такую-то реакцию Цицианов, видимо, и рассчитывал, творя свои «остроумные вымыслы». Вот один из них, заключаемый странным и одновременно забавным объяснением:

Говорили о Паганини, он (Д. Е. Цицианов. — Е. К.) сказал:

— Все вздор и пустяки городят, вот я слышал Роде, он играл в концерте, где 50 000 человек, у него струна лопнула, потом вторая, третья и четвертая, и он еще лучше играл, так, так на дереве.

(Смирнова-Россет 1989: 478)

Вообще цициановские «оправдательные» аргументы, обычно выдвигавшиеся в финале устных историй, отличала странная, нелепая логика, но при этом они были по-своему парадоксально убедительны. Особая интонационная достоверность достигалась за счет соотнесения «остроумных вымыслов» с личностью «русского Мюнхгаузена», необычные, даже нелепые

проявления которой были естественны и органичны. Сама колоритная фигура Цицианова придавала его историям особую достоверность.

Гиперболизируя, укрупняя, заостря действительность, а нередко и деформируя ее, представляя в сгущенно-пародийном ключе, рассказчик максимально выявлял свое творческое «я», в необычайно острой, динамичной форме реализовывал свое знание жизни и людей, тонкое понимание быта барской Москвы.

Создается впечатление, что прием достоверной подачи фантастического во многом был определен самой натурой Цицианова, своеобразным складом его личности. Так и есть. Но одновременно следует помнить, что достоверная подача фантастического отнюдь не является исключительной прерогативой Цицианова-рассказчика.

Да, Дмитрий Евсеевич был органичен в проявлениях своей натуры, но за отмеченным приемом стоит определенная традиция, стоит мир народных анекдотов о небылицах, а в книгах Э. Распе и Г. Бюргера прием этот был уже показан и осознан как некий принцип.

Приведем такой эпизод (берем его почти наудачу, ибо с полным основанием можно брать любой) — одно из бесчисленных приключений легендарного барона:

...В ожидании я направил своего тяжело дышавшего коня к колодцу на базарной площа-

ди, чтобы дать ему напиться. Он пил и пил без всякой меры и с такой жадностью, словно никак не мог утолить жажду. Но ДЕЛО, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ОБЪЯСНЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО (выделено мной. — Е. К.). Когда я обернулся в поисках моих людей, то угадайте, милостивые государи, что я увидел?

Всей задней части моего бедного коня как не бывало; крестец и бедра — все исчезло, словно их начисто срезали. Поэтому вода вытекала сзади по мере того, как она поглощалась спереди, без всякой пользы для коня и не утоляя его жажды. Для меня оставалось полнейшей загадкой, как это могло случиться, пока откуда-то с совершенно другой стороны не прискакал мой конюх и, разливаясь потоком сердечных поздравлений и крепких ругательств, не рассказал мне следующее.

Когда я в беспорядке с толпой бегущих врагов ворвался в крепость, внезапно опустили предохранительную решетку и этой решеткой начисто отсекли заднюю часть моего коня...

Имея перед собой неопровержимые доказательства того, что обе половины моего коня жизнеспособны, я поспешил вызвать нашего коновала. Недолго думая, он скрепил обе половины молодыми ростками лав-

ра, оказавшимися под рукой. Рана благополучно зажила, но случилось нечто такое, что могло произойти только с таким славным конем. А именно: ростки лавра пустились у него в теле корни, поднялись вверх и образовали надо мной шатер из листвы...

(Бюргер 1956: 31—32)

Приведенный фрагмент построен на сцеплении двух сюжетов, которые, кстати, широко распространены среди фольклорных анекдотов-небылиц (*Сравнительный указатель сюжетов* 1979: 372). Но вот что особенно важно. В тексте «Удивительных приключений барона Мюнхгаузена» интерпретация двух этих популярных сюжетов не просто решена в ключе достоверной подачи фантастического. Налицо четкий и целенаправленный композиционный прием.

Рассказчик, говоря о том, что лошадь его никак не могла утолить жажду, так как у нее была обрублена вся задняя часть, подчеркивает: «дело, оказывается, объяснялось очень просто»; затем же дает объяснения совершенно невероятные, которые только усиливают комический эффект, и усиливают вполне осознанно. Поэтому и можно с полным основанием говорить о том, что в «Удивительных приключениях барона Мюнхгаузена» достоверная подача фантастического — это именно принципиальной важности композиционный прием, закрепивший, канонизировавший в литературе одну из тенденций многовекового

фольклорного опыта. Цицианов, творя свои «остроумные вымыслы», непосредственно находился в русле этой тенденции.

Итак, правдоподобное объяснение невероятной ситуации, генетически восходя к достаточно древней модели, представляет собой одну из ведущих черт поэтики цициановского творчества.

Однако творчество это объединяет, цементирует еще один важнейший фактор — наличие личности особого повествователя, «поэта лжи». Анекдоты, рассказываемые им, существуют отнюдь не сами по себе, как отдельные, разрозненные тексты, а нанизываются как бы на единый стержень.

«Остроумные вымыслы» Цицианова, представляя собой пародийно обыгранные случаи из жизни или претендующие на это, легко и естественно, в соответствии с какой-то внутренней логикой, складываются в своего рода анекдотическую автобиографию рассказчика. Ее реконструкцию начнем с цикла семейных преданий.

В воспоминаниях А. О. Смирновой-Россет сведения о Д. Е. Цицианове и его устных рассказах сообщаются впервые в главе, посвященной Е. Е. Лорер, бабке мемуаристки, урожденной Цициановой, родной сестре Дмитрия Евсеевича. Приведя ряд сведений о своем двоюродном деде и его занимательных историях, А. О. Смирнова-Россет затем вновь возвращается к судьбе Е. Е. Лорер. В частности, она воссоздает следующий эпизод:

Однажды вечером приехал в Санжары (местечко вблизи Полтавы, в котором были выделены дворы Евсею Цицишвили, отцу Д. Е. Цицианова, и Е. Е. Лорер. — Е. К.) военный, который спросил, где бы он мог поужинать и переночевать. Ему отвечали, что самый большой дом у князя Цицианова и что он очень гостеприимен. Он постучался. Ему отворили и спросили, кто он и что ему угодно. Он отвечал, что он полковник фон Лорер... Пока он ужинал и готовили ему постель, он разговорился, сказал им, что немцы любят семейную жизнь и что если ему посчастливится, то хочет жениться. Все это было сказано, конечно, ломаным языком.

— А если ты хочешь жениться, — сказал ему старик, — у нас есть еще незамужняя дочь. У нее теперь короста (чесотка), и она лежит на лужайке, вымазанная дегтем.

Его ввели к ней. Он увидел черные курчавые волосы, черные глаза, нос *à la Bourbon*, белые, как жемчуг, зубы и сказал, что она ему нравится. А ее спросили, согласна ли она выйти за него замуж. Она отвечала:

— Почтенные мои родители! Я на все согласна, что вам угодно.

Князь Евсевий и княгиня Матрона горько плакали, расставаясь навеки со своей милой Кетеван.

(Смирнова-Россет 1989: 78—79)

Есть в приведенном рассказе черты несомненно реальные. Так, в нем точно, живописно схвачены исключительные гостеприимство грузинского князя и удивительная простота отношений в провинциальном дворянском быту. Вместе с тем налицо и общая пародийно-гротескная атмосфера текста. Создается впечатление, что он представляет собой забавную, остроумную интерпретацию действительно имевшего места события.

От кого А. О. Смирнова-Россет могла услышать подобное истолкование замужества своей бабки? От нее самой? Екатерина Евсеевна Лорер рассказывала своей маленькой внучке, как она лежала на лужайке, голая и вымазанная дегтем, когда к ней подвели жениха, и как она тут же согласилась?! Вряд ли. Скорее всего, мемуаристку мог проинформировать кто-либо из ближайших родственников, к тому же балагур, мастер парадоксов, любитель нелепых, неожиданных историй, фантазер, но не отрывающийся совершенно от реальности и идущий по линии ее сгущения, усиления резкости, пародийного обыгрывания.

И здесь нельзя не вспомнить о Дмитриии Евсеевиче Цицианове, который как раз мог расцвести перед внучкой своей сестры историю замужества последней самыми неожиданными красками, поведать о нем в форме яркой, занимательной новеллы.

Кстати, любопытно подчеркивание детали, что Лорер говорил ломаным языком. Вероятно, событие было описано мемуаристке в лицах. Иначе говоря, есть

еще один аргумент в пользу того, что история замужества Е. Е. Лорер была услышана А. О. Смирновой-Россет от присяжного рассказчика.

Но все-таки чем может питаться предположение, что это именно Дмитрий Цицианов?

Дело все в том, что в семействе Россетов существовал настоящий культ анекдота, точнее цициановского анекдота. На это указывают и записи, сделанные А. О. Смирновой-Россет, и целый ряд дополнительных свидетельств.

Так, в письме Я. К. Грота к П. А. Плетневу от 1 сентября 1845 года читаем:

Вчера после обеда пришел ко мне Россет (Аркадий Осипович. — Е. К.) прощаться. Я проводил его до дому. Он рассказывал мне... о старике князе Цицианове. Какой был оригинал этот старик. Я много смеялся.

(Переписка Грота 1896: 543)

В ответном письме к Я. К. Гроту П. А. Плетнев отмечает:

Цицианов родня был Россетам; о нем я от них слышал тысячу анекдотов.

(Переписка Грота 1896: 548—549)

Приведенные свидетельства наглядно показывают, что семейство Россетов было тем постоянным кана-

лом, через который в общество попадали цициановские истории; причем происходило это на протяжении десятилетий. Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что Арк. О. Россет передавал Я. К. Гроту рассказы своего двоюродного деда в 1845 году, то есть без малого через десять лет после смерти Дмитрия Евсеевича.

В силу того что эти анекдоты отражали целый спектр явлений русской жизни, они, видимо, и получили достаточно широкое распространение не только в семейном кругу, но и по всей Москве (барско-аристократической, во всяком случае), просачиваясь даже и в Петербург. Пародийно-семейная хроника, создававшаяся Цициановым, давала своеобразное преломление устойчивых форм дворянского быта с его нравами, представлениями, вкусами.

На таком родственном фоне необычайно живо и сочно вырисовывался сам рассказчик. Ограничимся сейчас одним примером, взятым из примечаний О. Н. Смирновой к «Запискам» А. О. Смирновой-Россет:

Мой дядя Россет раз спросил его (он был тогда пажем), правда ли, что он (имеется в виду Д. Е. Цицианов. — Е. К.) проел тридцать тысяч душ?

Старик рассмеялся и ответил:

— Да, только в котлетах.

Мальчик широко открыл глаза и спросил:

— Как в котлетах?

— Глупый! Ведь они были начинены трюфелями, а барашков я выписывал из Англии, и это, оказалось, стоит очень дорого.

(Смирнова-Россет 1895: 95)

Приведенная запись отражает факт общественной значимости. Хлебосольство и расточительность Цицианова не объяснишь одними лишь особенностями его натуры. В них очень живо, заостренно, гиперболизированно отразилась существенная черта быта барской Москвы.

Роскошно, обильно угостить своего и приезжего, родовитого и безродного как раз и было одним из проявлений московского аристократизма. Вспомним пародийно-утрированное, но по сути верное изображение этой приметы «отставной столицы» в «Горе от ума» А. С. Грибоедова:

...возьмите вы хлеб-соль:

Кто хочет к нам пожаловать — изволь,

Дверь отперта для званных и незванных...

Хоть честный человек, хоть нет,

Для нас равнехонько: про всех готов обед!

(Грибоедов 1969: 42)

У Цицианова необыкновенно остро, выпукло проявлялся этот своеобразный комплекс чести старого московского барства, который с предубеждением, явно

передергивая, но тем не менее очень выразительно и емко зафиксировал Грибоедов.

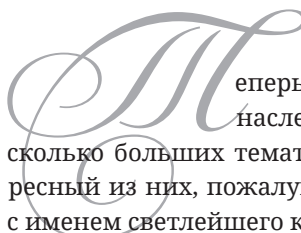
Однако сейчас для нас важны не столько хлебо-сольство и расточительность Цицианова (а они выделялись даже на фоне барской Москвы), сколько то именно обстоятельство, что эти качества органично вошли в ту анекдотическую автобиографию, которую «строил» известный рассказчик. Он сумел изысканно, с блеском препарировать свои приятные слабости, сделав их материалом для собственного устного творчества.

Немаловажное значение имело здесь и то, что Цицианов фактически пародировал, доводил до абсурда, до стадии гротеска не только свои личные качества, но и целое общественное явление, что только увеличивало успех анекдотов и способствовало их выходу за рамки чисто семейных преданий.



4

КНИГА О «РУССКОМ МЮНХГАУЗЕНЕ». ПОТЕМКИНСКИЙ ЦИКЛ. КУРЬЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ

еперь стоит вычленить в устном наследии Дмитрия Цицианова несколько больших тематических блоков. Самый интересный из них, пожалуй, — это анекдоты, связанные с именем светлейшего князя Г. А. Потемкина.

В основе текстов, рассматривавшихся выше, неизменно лежал забавный бытовой эпизод, хотя и тесно связанный с личностью рассказчика (или с его происхождением), лица абсолютно реального, и вне соотношения с этой личностью во многом теряющий свою остроту и привлекательность. Потемкинский цикл уже открывает непосредственно область историко-биографического анекдота. Впрочем, и тут Цицианов сохранил неизменную свою ориентацию на поэтику анекдота-небылицы.

Анекдотов о Григории Потемкине существовало тогда великое множество, и сложились свои типо-

вые черты, общие тенденции и даже штампы в обрисовке всемогущего фаворита Екатерины Второй. Был и свой набор сюжетов, наиболее показательные из которых были зафиксированы А. С. Пушкиным в «Table-talk». Потемкинский цикл Дмитрия Цицианова резко выбивается из этой традиции.

Бытовые и исторические характеристики в рамках этого цикла существуют в единой стихии фантазии рассказчика. Именно он, а вовсе не светлейший оказывается в центре повествования: доминирует, эстетически оказывается наиболее притягательной склонность «русского Мюнхгаузена» к пародийно-гротескной интерпретации действительности. И вообще, если в стереотипном потемкинском анекдоте благоденствия оказывает или, напротив, сердает, капризничает и не оказывает всемогущий Григорий Александрович, то у Цицианова благоденствия светлейшему оказывает сам Дмитрий Евсеевич.

В «Записках современника» зафиксирован следующий анекдот:

Говорил он (Д. Е. Цицианов. — Е. К.) о каком-то сукне, которое он поднес князю Потемкину, вытканном по заказу его из шерсти одной рыбы, пойманной им в Каспийском море.

(Жихарев 1955: 38)

Приведенный текст, безусловно, относится к числу типично цициановских «остроумных вымыслов», и показательно в связи с этим, что он отнюдь не представляет собой чистую фантазию. Цицианов ведь, как правило, не выдумывал и не обманывал, он как бы преображал действительность, давал ее анекдотическое истолкование.

У рассказа, который был конспективно записан С. П. Жихаревым, также была своя реальная основа.

Дело в том, что Цициановым принадлежала на территории Российской империи суконная фабрика. Данное обстоятельство было довольно известно (*Тарсаидзе 1983: 6*). Видимо, Цицианов, пародируя, доводя до абсурда тему всякого рода ценностей и раритетов, которые якобы принадлежат аристократическим, родовитым представителям грузинской колонии в Москве, как раз и рассказывал об одном из диковинных изделий фабрики своего семейства. В этом нам видится общая подоплека рассказа о сукне, вытканном из рыбы.

Но прежде всего острота и актуальность этого анекдота заключались в том, что Цицианов сумел ублажить, изумить, одарить такого исключительного баловня судьбы, каковым являлся Потемкин.

Как уже говорилось, это у Потемкина добивались всевозможных милостей, что как раз и получило отражение в анекдотах. Однако Цицианов строил потемкинскую главу книги о «русском Мюнхгаузене» принципиально иначе: он живо и остроумно показы-

вал, как можно раззадорить и удивить высочайшего вельможу, сказочно богатого, пресыщенного утехами и диковинками, удовлетворившего уже как будто все свои прихоти.

В целом рассказ о рыбьем сукне легко и точно ложится в цициановскую анекдотическую летопись екатерининской эпохи, с ее азиатской роскошью и размахом, с чудесными превращениями людских судеб и происшествиями, которые впоследствии казались немыслимыми. Цицианов не просто живо, остроумно интерпретировал и представил ряд занимательных, забавных случаев из более чем тридцатилетнего правления Екатерины Второй: материал отбирался, обрабатывался, шлифовался, и в результате возникла художественно преображенная и полемически заостренная картина, которая создавалась главным образом уже не в царствование Екатерины, а гораздо позже, представляя собой характерное явление в жизни русского общества первых трех десятилетий XIX столетия.

Крупность, яркость, своеобычность деятелей екатерининской эпохи, как можно предположить, противопологались Цициановым, который и сам был колоритной фигурой, временам Александра Первого и Николая Первого. В этом контексте и надо постигать, как и когда стал складываться у «русского Мюнхгаузена» его потемкинский цикл.

Цикл этот, судя по всему, пользовался особенной популярностью, но особенно знаменит был один

анекдот — иногда его называли «анекдотом о цициановской шубе». Неслучайно он сохранился в целом комплексе записей, далеко не во всем совпадающих друг с другом. Было бы весьма целесообразно привести их целиком, сопоставить и хотя бы вкратце проанализировать.

В «Воспоминаниях о 1812 годе и вечерних беседах у графа Ф. В. Ростопчина» А. Я. Булгакова приведена наиболее развернутая из всех известных, максимально подробная редакция анекдота о цициановской шубе. Мемуарист стремился по возможности точно воссоздать творческую манеру «русского Мюнхгаузена», сохранить характерные интонации известного рассказчика, всю прелесть его забавно-парадоксальной логики.

Включая в свои воспоминания анекдот о цициановской шубе, А. Я. Булгаков как автор преднамеренно устраняется, выступая только лишь как фиксатор, как записывающее устройство (приводятся и учитываются даже реплики слушателей).

А. Я. Булгаков предоставляет слово самому Цицианову — повествование ведется именно от имени Дмитрия Евсеевича, и это отнюдь не формальный прием, в данном случае он совершенно оправдан, объясняясь особой установкой мемуариста, который увидел в «русском Мюнхгаузене» выдающегося мастера устного слова. В общем, Д. Е. Цицианову с А. Я. Булгаковым страшно повезло, ведь для истории сохранена в полном смысле слова устная новелла «русско-

го Мюнхгаузена», подлинный художественный текст, настоящий цициановский шедевр.

Итак, наиболее пространный и точный вариант анекдота о цициановской шубе:

Князь Потемкин меня любил именно за то, что я никогда ни о чем его не просил и ничего не искал. Я был с ним на довольно короткой ноге.

Случилось, один раз, разговаривая (не помню, у кого это было, ну да все равно) о шубах, сказал, что он предпочитает медвежьи, но что они слишком тяжелы, жалуясь, что не может найти себе шубы по вкусу.

— А что бы вам давно мне это сказать, светлейший князь: вот такая же точно страсть была у моего покойного отца, и я сохраняю его шубу, в которой нет, конечно, трех фунтов весу.

Все слушатели рассмеялись.

— Да чему вы так обрадовались? — возразил Цицианов. — Будет вам еще чему посмеяться, погодите, да слушайте меня до конца.

И князь Потемкин тоже рассмеялся, принимая слова мои за басенку.

— Ну а как представлю я вашей светлости, — продолжал Цицианов, — шубу эту?

— Приму ее от тебя, как драгоценный подарок, — отвечал мне Таврический.

Увидя меня несколько времени спустя, он спросил меня тотчас:

— Ну что, как поживает трехфунтовая медвежья шуба?

— Я не забыл данного вам, светлейший князь, обещания и писал в деревню, чтобы прислали ко мне отцовскую шубу.

Скоро явилась и шуба. Я послал за первым в городе скорняком, велел ее при себе вычистить и отделать заново, потому что такую редкость могли бы у меня украсть или подменить.

Ну, слушайте, не то еще будет.

Вот завертываю я шубу в свой носовой шелковый платок и отправляюсь к светлейшему князю. Это было довольно; меня там все знали.

— Позвольте, ваше сиятельство, — говорит мне камердинер, — пойду только посмотреть, вышел ли князь в кабинет или еще в спальней. Он нехорошо изволил ночь проводить.

Возвращается камердинер и говорит мне:

— Пожалуйста!

Я вышел, гляжу: князь стоит перед окном, смотрит в сад; одна рука была во рту

(светлейший изволил грызть себе ногти), а другою рукою чесал он... нет, не могу сказать что, угадывайте!

Он в таких был размышлениях или рассеянности, что не догадался, как я к нему подошел и накинул на плеча шубу.

Князь, освободив правую свою руку, начал по стеклу наигрывать пальцем какие-то свои фантазии.

Я все молчу и гляжу на этого всемогущего баловня, думая себе:

— Чем он так занят, что не чувствует даже, что около него происходит, и чем дело это закончится?

Прошло довольно времени — князь ничего мне не говорит и, вероятно, забыл даже, что я тут.

Вот я решился начать разговор, подхожу к нему и говорю:

— Светлейший князь!

Он, не оборачиваясь ко мне, но узнавши голос мой, сказал:

— Ба! Это ты, Цицианов? А что делает шуба?

— Какая шуба?

— Вот хорошо! Шуба, которую ты мне обещал!

— Да шуба у вашей светлости.

— У меня? Что ты мне рассказываешь?

— У вас... да она и теперь на ваших плечах!

Можете себе представить удивление князя, вдруг увидевшего, что на нем была подлинно шуба. Он верить не хотел, что я давно накинул ему шубу на плечи.

— То-то не понимал я, отчего мне так жарко было; мне казалось, что я нездоров, что у меня жар, — повторял князь, — да это просто сокровище, а не шуба. Где ты ее выкопал?

— Да я вашей светлости уже докладывал, что шуба эта досталась мне после моего отца.

— Диковинная!.. Однако посмотри, она мне только по колено.

— Чему тут удивиться. Я ростом не велик, а отец мой был хоть и сильный мужчина, но головою ниже меня. Вы забываете, что у вашей светлости рост геркулесов; что для всех людей шуба, то для вас куртка.

Князя очень это позабавило, он смеялся и хотел непременно узнать, какими судьбами досталась шуба эта моему отцу.

Я рассказал ему всю историю: как шуба эта была послана из Сибири, как редкость, графу Разумовскому в царствование императриц Елизаветы Петровны, как дорогою была украдена разбойниками и продана ша-

ху персидскому, который подарил ее моему отцу.

Князь удивился, что нет теперь таких шуб, на что я ему объяснил, что был в Сибири мужик, который умел так искусно обделывать медвежьи меха, что они делались нежнее и легче соболиных, и мужик этот умер, не открыв никому секрета.

(Булгаков 1904: 113—116)

Другой вариант этого анекдота был зафиксирован П. А. Вяземским в «Старой записной книжке». Причем если в записи А. Я. Булгакова еще явственно ощущаются элементы фамильного предания, да и сама диковинная шуба фигурирует именно как цициановская, то в тексте, записанном Вяземским (а он также, видимо, слушал самого Дмитрия Евсеевича), налицо уже приметы курьерского анекдота: сам Цицианов становится курьером, а чудо-шуба (она уже теперь, кстати, не медвежья, а соболья) из семейной реликвии превращается в царский подарок. Так что Цицианов, как видим, сильно варьировал свою устную новеллу о шубе, преподнесенной Потемкину.

Итак, вариант, представленный П. А. Вяземским:

Императрица Екатерина отправляет его (Д. Е. Цицианова. — Е. К.) курьером в Молдавию к князю Потемкину с собольей шубою.

Нечего уже и говорить о быстроте, с которою проехал он это пространство: подобные курьерские рассказы впадают в обыкновенную и пошлую прозу.

Он приехал, подал Потемкину письмо императрицы. Прочитав его, князь спрашивает:

— А где же шуба?

— Здесь, ваша светлость!

И тут вынимает он из своей курьерской сумки шубу, которая так легка была, что уложилась в виде носового платка. Он встряхнул ее раза два и подал князю.

(Вяземский 1883: 146)

Среди «Рассказов С. М. Голицына», опубликованных в свое время в «Русском архиве», есть один, представляющий собой вариант рассказа о цициановской шубе, которую можно сжать в кулак:

Потемкин почувствовал себя однажды не очень хорошо, послал своего адъютанта князя Цицианова за шубой.

Цицианов рассказывал, что он привез шубу, сжавши ее в кулак.

Когда он явился, Потемкин спросил:

— Где шуба?

— Вот она! — отвечал Цицианов, разжимая кулак.

(Голицын 1869: 628)

Еще один вариант рассказа о цициановской шубе можно найти в «Автобиографии» А. О. Смирновой-Россет; своей соотнесенностью со стилем курьерского анекдота он близок записям П. А. Вяземского и С. М. Голицына, но композиционно сложнее и насыщеннее их:

Я был, говорил он (Д. Е. Цицианов. — *Е. К.*), фаворитом Потемкина.

Он мне говорит:

— Цицианов, я хочу сделать сюрприз государыне, чтобы она всякое утро пила кофий с калачом, ты один горазд на все руки, поезжай же с горячим калачом.

— Готов, ваше сиятельство.

Вот я устроил ящик с конфоркой, калач уложил и помчался, шпага только

ударяла по столбам все время: тра, тра, тра, и к завтраку представил собственноручно калач.

Изволила благодарить и послала Потемкину шубу.

Я поехал и говорю:

— Ваше сиятельство, государыня в знак благодарности прислала вам соболью шубу, что ни есть лучшую.

— Вели же открыть сундук.

— Не нужно, она у меня за пазухой.

Удивился князь, шуба полетела, как пух,
и поймать ее нельзя было, так и не носил ее.

(Смирнова-Россет 1989: 478)

А. О. Смирнова-Россет зафиксировала еще один вариант анекдота о цициановской шубе; на сей раз запись сделана от первого лица, то есть от имени самого Дмитрия Евсеевича:

...Екатерина очень обрадовалась и говорит мне:

— Батюшка князь, сделай одолжение, отвези соболью шубу Потемкину, его именины скоро, а он подарушечки любит.

— Прикажите, ваше величество, ее уложить.

— Да вот она.

Вижу пакет как большое письмо. Тотчас в сани и на тройке скачу в Москву, приехал как раз к обедне. Говорят, князь в церкви. Как кончилась обедня, я подхожу к нему и говорю:

— Ее величество изволили прислать вам соболью шубу, — а я в большой карман, открываю пакет, шуба летает по церкви и повисла на паникадиле, насилу ее поймали.

(Смирнова-Россет 1989: 503)

Знаменитый сюжет о цициановской шубе при всех своих вариативных отличиях (то она медвежья, то со-

болья, то принадлежит самому Цицианову, то он как курьер просто передает ее) неизменно разворачивается как реализация метафоры «легкая, как пух, шуба». Однако нас интересует не общее, а отличия, и сейчас речь пойдет не об общей направленности сюжета, а о том, как он подавался в различных ракурсах восприятия.

Прежде всего считаем целесообразным особо отметить первую (булгаковскую) запись анекдота. Она, хоть и лишена интереснейшего мотива курьерства, чрезвычайно ценна тем, что представляет собой не краткое, конспективное изложение, как во всех остальных редакциях текста, а воссоздание его с максимальной полнотой. Читателю «Воспоминаний о 1812 году и вечерних беседах у графа Ростопчина» предоставляется исключительная возможность — и это уже подчеркивалось выше — как бы услышать живую речь Цицианова, непосредственно ознакомиться с его особой творческой манерой, а не с сухим изложением анекдота. Очень существенно, что тут была сознательная установка мемуариста. А. Я. Булгаков ведь сделал специальную оговорку:

Я буду стараться передать рассказ, как слышал из уст самого князя Цицианова, у которого было свое особенное красноречие... Я буду стараться передать точные слова Цицианова. Теперь говорить будет уже он, а не я.

(Булгаков 1904: 112—113)

И еще несколько соображений о сделанной А. Я. Булгаковым записи рассказа о цициановской шубе. Запись не просто имеет развернутый характер, содержит массу деталей, подробностей, характеризующих творческую манеру своеобразного рассказчика, но еще и демонстрирует одну из определяющих черт цициановской поэтики — достоверную подачу фантастического. Интересно, что черта эта реализовывалась в анекдоте о цициановской шубе не только за счет ввода в мало правдоподобную ситуацию вполне реальных деталей (например, сообщается, что Г. А. Потемкин грыз ноги, — светлейший и правда так делал, когда на него находила хандра), но и путем активного использования точных, тщательно продуманных психологических характеристик.

Так, А. Я. Булгаков не просто подчеркивает, что шуба, подаренная Потемкину, была изготовлена редкостным мастером, который знал особый секрет обработки медвежьих мехов и унес его с собой в могилу (это по мысли рассказчика как бы доказывает диковинность. Невероятность и одновременно реальность легкой, как пух, шубы объясняет, почему таковых больше нигде и нет), но психологически достоверно описывает состояние самого Потемкина: светлейший был так расстроен, так озабочен чем-то, что даже не заметил, как на плечи ему накинули шубу, которая к тому же легка, как пух. Но все эти объяснения не только не делают невероятную историю фактом действительности, а наоборот, обнажают, выделяют ее гиперболи-

чески-заостренный характер, подчеркивают, что на самом-то деле она обладает не столько реально-бытовым, сколько эстетическим статусом. В целом же записи А. Я. Булгакова важна потому, что самым непосредственным образом вводит в мир «остроумных вымыслов» Цицианова.

Особо стоит остановиться на первом из двух вариантов анекдота о цициановской шубе, что были зафиксированы А. О. Смирновой-Россет. Ничего принципиально нового не внося в то, что было записано А. Я. Булгаковым, П. А. Вяземским, С. М. Голицыным, этот вариант представляет интерес развернутым мотивом курьерства. Фактически анекдот о шубе сцеплен с отдельным курьерским анекдотом (герой едет так быстро, что шпага его стучит по верстовым столбам, как по частоколу).

Вообще невероятно быстрая езда, похожая на чудо, — это один из штрихов в той картине широты, удали и размаха, которую создавал в анекдотах о Потемкине Цицианов. Так что совсем не случайно анекдот о шпаге, стучащей по верстовым столбам, как по частоколу, прикреплен к анекдоту о шубе легкой, как пух. Однако мотив курьерства, сохраненный в варианте А. О. Смирновой-Россет, важен еще по одной причине. Вспомним одно из пушкинских примечаний к «Евгению Онегину» (№ 43):

Сравнение, заимствованное у К**, столь известного игривостию изображения. К** рас-

сказывал, что будучи однажды послан курьером от князя Потемкина к императрице, он ехал так скоро, что шпага его, высунувшись концом из тележки, стучала по верстам, как по частоколу.

(Пушкин 1937: 195)

Примечание это вызвано следующими строчками из строфы 35-й главы седьмой «Евгения Онегина»:

Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теща праздный взор,
В глазах мелькают как забор.

(Пушкин 1937: 154)

Кто же тот загадочный К**, который был известен в пушкинское время особенной «игривостию изображения»? К**, который мог быть послан курьером от Потемкина к Екатерине, а затем мог бы создать на основе этого путешествия «остроумный вымысел»? Еще в 1923 году Б. Л. Модзалевский выдвинул предположение, что под К** поэт имел в виду князя Д. Е. Цицианова (К** расшифровывалось как князь такой-то). Предположение было высказано вскользь в комментариях к пушкинскому «Дневнику» (*Дневник Пушкина 1923: 101*). Вновь обратимся к давней гипотезе Б. Л. Модзалевского.

Конечно, «игривость изображения» — одно из определяющих качеств Цицианова как рассказчика.

Но вместе с тем никак нельзя утверждать, что данная особенность заключена исключительно за Дмитрием Евсеевичем. Неудивительно поэтому, что Ю. М. Лотман в комментарии к «Евгению Онегину» высказывает предположение, что под К** Пушкин подразумевал остряка и мистификатора А. Д. Копьева, впрочем решительно не отмечая и кандидатуры Д. Е. Цицианова:

Пушкин, видимо, имеет в виду рассказы известного автора комедий и фантастических вымыслов А. Д. Копьева, хотя подобные же рассказы приписывались и другому известному «поэту лжи», князю Д. Е. Цицианову.

(Лотман 1980: 324)

В самом деле, за А. Д. Копьевым (о нем шла речь в предыдущей главе) традицией был закреплен целый ряд популярных острот, пародий, мистификаций, так что в определенном смысле и его отличала «игривость изображения» — тут Ю. М. Лотман прав. Но о «фантастических вымыслах» А. Д. Копьева, которые упоминает ученый, совершенно ничего не известно. В то же время все попавшие в поле нашего зрения записи анекдотов Д. Е. Цицианова подпадают под категорию «фантастических вымыслов». Кроме того, А. Д. Копьев никак не мог входить в ближайшее окружение Г. А. Потемкина, не мог быть его адъютантом, не мог быть послан от него курьером к Екатерине Второй, ибо он появился при дворе несколь-

ко позднее, принадлежа к любимцам графа Зубова, последнего фаворита царицы. Поэтому предположение Б. Л. Модзалевского гораздо основательнее гипотезы Ю. М. Лотмана, но и оно остается именно предположением. Чтобы утверждать, что Пушкин в 35-й строфе главы седьмой «Евгения Онегина» имел в виду Д. Е. Цицианова и его анекдот, нужны бесспорные факты. И эти факты есть, на них просто не обращали внимания.

В 1931 году, когда Б. Л. Модзалевского уже не было в живых, вышла в свет «Автобиография» А. О. Смирновой-Россет. В ее составе находится запись сюжета о цициановской шубе. Фактически эта запись включает в себя три нанизанных друг на друга эпизода, и один из них (о курьерстве, с упоминанием шпаги, стучавшей по верстовым столбам, как по частоколу) и цитировавшееся пушкинское примечание к «Евгению Онегину» соотносятся как два варианта одного и того же цициановского анекдота. Так что предположение Б. Л. Модзалевского перестало быть гипотезой и превратилось в установленный факт.

Теперь можно быть окончательно уверенным, что рассказ о легкой, как пух, шубе, точнее, извлеченный из него мотив курьерства был творчески переработан А. С. Пушкиным и органично вошел в состав «Евгения Онегина». Попутно стоит заметить, что А. С. Пушкина вообще, видимо, привлекала курьерская тема в интерпретации Д. Е. Цицианова, и кажется, можно понять причину такого интереса.

«Русский Мюнхгаузен» виртуозно разоблачал курьерские и, шире, «дорожные» анекдоты, гротескно обнажая их фальшь, подчеркивая разного рода логические неувязки, пародийно раскрывая технику подобного рода текстов. Ограничимся на этот счет одним примером, тем более интересным, что он непосредственно помогает увидеть, как курьерский («дорожный») анекдот проецируется в литературу.

Ф. В. Ростопчин упоминал в одном из своих писем:

Московских здесь я вижу Архаровых, соседа
моего Цицианова, у которого лошадь скачет
500 верст не кормя.

(Письма Ростопчина 1863: 892)

Эта ссылка на «дорожный» анекдот Цицианова прежде всего важна потому, что помогает понять одно очень неясное место из пушкинского «Домика в Коломне». В седьмой октаве поэмы читаем:

...поплетусь-ка дале
Со станции на станцию шажком,
Как говорят о том оригинале,
Который, не кормя, на рысаке
Приехал от Москвы к Неве-реке

(Пушкин 1948: 85).

Что это за оригинал, приехавший, не кормя, от Москвы к Неве-реке? До сих пор было неясно. Но эписто-

лярное свидетельство Ф. В. Ростопчина убеждает, что «оригиналом», о котором писал поэт, был не кто иной, как князь Цицианов. Более того, становится очевидным, что Пушкин имел в виду совершенно определенный цициановский анекдот. Увы, кроме упоминания в письме Ф. В. Ростопчина, о нем ничего не известно.

Полный его текст можно реконструировать приблизительно следующим образом (исходим из построения известных уже цициановских «остроумных вымыслов»). Дмитрий Евсеевич Евсеевич рассказывает: «У меня есть такая лошадь, что скачет 500 верст не кормя»; собеседник требует разъяснений, как это может произойти; Цицианов отвечает с невинной ухмылкой: «А так — со станции на станцию шажком». Фраза, включенная А. С. Пушкиным в «Домик в Коломне», была тем пуантирующим псевдообъяснением, которое венчало большинство «остроумных вымыслов» «русского Мюнхгаузена»: «Как же могут столь огромные пчелы влетать в обыкновенные ульи?» — «У нас в Грузии отговорок нет: хоть тресни, да полезай»; «...да как ты не промок?» — «О, я умею очень ловко пробираться между каплями дождя» и т. д.

Какое же место занимает цициановский анекдот в поэтической системе «Домика в Коломне»? Л. П. Гроссман в свое время указывал на особое значение анекдота в построении «тех произведений Пушкина, которые он охотно называл „шутливыми повестями“ или „легкими веселыми рассказами“. Этот вид обнимает и поэмы, и прозаические произведе-

ния: „Граф Нулин“, „Домик в Коломне“, „Барышня-крестьянка“ одинаково относятся к нему» (*Гроссман 1923: 58—59*). Добавим, что все эти произведения не просто ориентированы на анекдот, как на определенный случай, забавный, психологически интересный, неожиданный, — они насквозь анекдотичны, пародийно-игровая стихия буквально пронизывает их. И цициановский анекдот, нашедший отражение в «Домике в Коломне», является пусть всего лишь локальным эпизодом, но при этом очень точно вписывающимся в общую тональность поэмы.

Теперь, от реконструкции кавказских анекдотов, семейных преданий, потемкинского цикла, курьерских и дорожных анекдотов, целесообразно обратиться к еще одной весьма существенной сфере устного творчества Цицианова, может быть, это даже и главная сфера. Мы имеем в виду московский цикл, ведь автобиография «русского Мюнхгаузена», построенная как цепочка довольно связанных друг с другом эпизодов, фактически выросла в пародийную летопись барской Москвы. Попутно попытаемся «выловить» отдельные («блуждающие») сюжеты, не имеющие точной цикловой принадлежности, но, видимо, все-таки соотносящиеся с московской главой той яркой, оригинальной книги, которую творил Цицианов.



5

КНИГА О «РУССКОМ МЮНХГАУЗЕНЕ». МОСКОВСКИЙ ЦИКЛ

Различнейшие сплетни, небылицы, самые невероятные домыслы — это было именно то, чем жила шумная, веселящаяся, развлекающаяся Москва конца XVIII — начала XIX веков. И характерно, что именно они во многом определили само построение, составили зерно сюжета такого «московского» произведения, как «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Кстати, в основу комедии Ф. В. Ростопчина «Вести, или Убитый живой», действие которой разворачивается в Москве, опять-таки положена тема слухов.

Кажется, нет никаких прямых оснований утверждать, что А. С. Грибоедов, продумывая концепцию «Горя от ума», учитывал опыт Ф. В. Ростопчина-комедиографа, хотя в принципе и мог это делать. Но совершенно очевидно следующее: изнутри зная и чувствуя быт барской Москвы, и А. С. Грибоедов, и Ф. В. Ростопчин понимали, какое огромное значение имеют

в системе этого быта всякого рода небылицы. Иначе говоря, сама «отставная столица», заключавшая в себе особый, неповторимый мир, как бы подталкивала к созданию комедий, в которых доминантой московских нравов оказываются происшествия абсурдные, невообразимые, даже фантастические, но возведенные при этом в ранг вполне достоверной новости. Причем А. С. Грибоедов даже включил в текст «Горя от ума» гиперболически заостренный образ московских слухов как особого действующего лица, и лица очень значительного. Приведем фрагмент из монолога Чацкого, особенно ярко, остро звучащий в ранней редакции комедии:

И вот Москва! — я был в краях
Где с гор верхов ком снега ветер скатит,
Вдруг глыба этот снег, в паденьи весь охватит,
С собой влечет, дробит, стирает камни в прах,
Гул, рокот, гром, вся в ужасе окрестность.
И что она в сравненьи с быстротой,
С которой чуть возник, уж приобрел известность
Московской фабрики слух вредный и пустой.

(Грибоедов 1969: 233)

Выделенная А. С. Грибоедовым сторона жизни барской Москвы во многом обусловила одну общую тональность в тематическом регистре творчества Цицианова. Напомним, что «русский Мюнхгаузен» не просто придумывал и распространял веселые и за-

бавные небылицы — он создавал, творил «новости», в которые невозможно было поверить. Игровые, гротескные, они поражали воображение какой-то особой остротой, пикантностью, умением превратить тривиальную историю в нечто феерическое, непредсказуемо оригинальное, принадлежащее уже не только быту, но и искусству.

В воспоминаниях А. О. Смирновой-Россет есть ссылка на один цициановский анекдот, о котором все прочие мемуарные источники вообще не содержат никаких упоминаний. При всей скупости, конспективности изложения, «остроумный вымысел», сохраненный памятью А. О. Смирновой-Россет, представляется достаточно показательным:

Он (Д. Е. Цицианов. — Е. К.) всех смешил своими рассказами, уверял, что варит прекрасный соус из куриных перьев и что по окончании обеда всех будет звать петухами и курицами.

(Смирнова-Россет 1989: 125)

Эта и другие подобные истории представляют собою яркие, смелые пародии на привычки и представления барской Москвы, на то, как там привыкли забавляться и верить всяким нелепостям. Так, например, когда на зиму в нее съезжались из окрестных и дальних имений помещики со своим запасом деревенских поверий и удивительных происшествий, то Ци-

цианов, смело и виртуозно выполняя функцию «кара-
теля лжи», отвечал на их провинциальные новости
своими «правдивыми» рассказами. Вот один из ти-
пично цициановских антислухов, которые не играли
под реальность, а, наоборот, были подчеркнуто ирре-
альны:

...князь Цицианов, известный поэзией рас-
сказов, говорил, что в деревне его одна кре-
стьянка разрешилась от долгого бремени се-
милетним мальчиком, и первое слово его,
в час рождения, было: дай мне водки!

(Вяземский 1883: 388)

Стоит указать еще на один тематический регистр ци-
циановского творчества. Мода на розыски разного ро-
да исторических достопамятностей, склонность мно-
гих «отставных фаворитов», живших на покое в Мо-
скве, к собиранию домашних музеев, библиотек,
коллекций во многом определили тематику и коло-
рит особого слоя цициановских анекдотов.

Ф. В. Ростопчин в письме к наместнику Кавказа
П. Д. Цицианову, с которым его связывали давние дру-
жеские отношения, сообщал в числе последних мо-
сковских новостей следующее:

Забыл было сказать ложь князя Д. Е. Цициа-
нова. Горич нашел в каменной горе у Моз-
дока бутылку с водою, и стекло так тонко,

что гнется, сжимается и опять расправляется, и он заключил, что эта бутылка должна быть из тех, кои употребляли Помпеевы солдаты, хотя римляне и никогда в сем краю не были. А доказательство Цицианова было то, что подобные сей бутылке сосуды есть в завалинах Геркулана и Помпеи.

(Переписка Ростопчина 1872: 24)

Как видим, Цицианов доводил до яркого, смелого, гротеска привычку москвичей посудачить да посплетничать, разоблачал он и «хлестаковых от археологии», смело и остроумно показывая, как на самом деле собирались многие доморощенные коллекции, виртуозно демонстрируя, что желание иметь у себя раритет подревнее приводило к тому, что антикварию-любители не останавливались ни перед чем, даже перед самым явным подлогом.

Напомним, как представлял свою коллекцию президенту Российской академии А. С. Шишкову и президенту Академии художеств А. Н. Оленину известный антиквар-мистификатор Селакадзев (Сулукадзе):

Главное сокровище Селакадзева состояло в толстой, уродливой палке, вроде дубинок, употребляемых кавказскими пастухами для защиты от волков; и эту палку выдавал он за костыль Иоанна Грозного, а когда я сказал ему, что на все его вещи нужны ис-

торические доказательства, он с негодованием возразил мне: «Помилуйте, я честный человек и не стану вас обманывать». В числе этих редкостей я заметил две алебастровые фигурки Вольтера и Руссо, представленных сидящими в креслах, и в шутку спросил Селакадзева: «А это что у вас за антики?» — «Это не антики, — отвечал он, — но точные оригинальные изображения двух величайших поэтов наших, Ломоносова и Державина...»

(Жихарев 1955: 437)

Таким образом, за сделанным Ф. В. Ростопчиным коротеньким пересказом цициановского анекдота вырисовывается особая сфера быта барской Москвы. Однако текст интересен не только тем, что в нем живо, выразительно обнажены наивные претензии некоторых антиквариетов-любителей, не только тем, что он связан с жизнью «отставной столицы».

Судя по всему, цициановский «остроумный вымысел», который мы извлекли из письма Ф. В. Ростопчина, был в свое время широко известен. Об этом, в частности, свидетельствует то, что он был переработан и переведен на язык драматургии, получив литературное закрепление в комедии А. А. Шаховского «Не любо — не слушай, а лгать не мешай». По традиции эта комедия связывается с мюнхгаузениадами П. П. Свиньина, издателя «Отечественных записок»

и собирателя редкостей. Но на самом деле круг источников комедии Шаховского гораздо шире; в частности в эту комедию попал и цициановский анекдот, что подтверждается цитированным выше письмом Ф. В. Ростопчина. Вот соответствующий фрагмент из Шаховского:

Фарфор фарфору рознь, а этот — эластик,
То есть он гнется как хотите.
Салфеткою его сложите
И всуньте в стол — лежит, ударьте об пол — прыг,
И отсканет как мячик...

(Шаховской 1969: 529).

Сохранились и такие записи устных рассказов Цицианова, которые прямо не относятся к московскому или какому-либо иному циклу, но игнорировать их не стоит. Они интересны и важны тем, что дают яркие и оригинальные проявления этой колоритнейшей личности, фиксируя прежде всего разные парадоксы «русского Мюнхгаузена», а он до них был величайший охотник. Вот небольшая подборка (три текста):

Дмитрий Евсеевич говорил, что французский язык — это вертопрашный язык. Только, говорил он, наши барыни любят болтать всякий вздор по-французски. Скажи им по-французски: Pantalons, так и растают,

а скажи им штаны — чуть в обморок не падают.

(Смирнова-Россет 1990: 122)

Когда воздвигли Александровскую колонну, он (Д. Е. Цицианов. — Е. К.) сказал одному из моих братьев: «Какую глупую статую поставили — ангела с крыльями; надобно представить Александра в полной форме и держит Наполеонку за волосы, а он только ножками дрыгает.

(Смирнова-Россет 1989: 504)

Цицианов любил также хвалить талант дочери своей в живописи, жалуясь всегда на то, что княжна на произведениях отличной своей кисти имела привычку выставить имя свое, а когда спрашивали его, почему так, то он с видом довольным отвечал: «Потому что картины моей дочери могли бы слыть за Рафаэlevы, тем более что княжна любила преимущественно писать Богородицу и давала ей и маленькому Спасителю мастерские позы».

(Булгаков 1904: 117)

Мы попытались выделить основные тематические сферы устного наследия Д. Е. Цицианова. Кавказские анекдоты, пласты семейных преданий, пародийная

мозаика московского быта, невероятные происшествия екатерининского царствования, гротескно заостренные отдельные подробности русской жизни конца XVIII и начала XIX столетия — все это складывалось если не в полную, то во всяком случае в достаточно объемную картину. Внутреннюю цельность этой картине обеспечивала оригинальная и вместе показательная для своего времени (и в частности, для быта барской Москвы) личность хлебосола и балагура, рассказчика и остролова, создателя знаменитых «лживых» историй — «русского Мюнхгаузена».

В процессе воссоздания своеобразного мира цинично-новских «остроумных вымыслов» мы не раз подчеркивали связь самих основ этого мира с кругом мюнхгаузенских традиций. На данном весьма существенном обстоятельстве имеет смысл остановиться особо.



РЕПУТАЦИЯ «РУССКОГО МЮНХГАУЗЕНА» И ЕЕ ИСТОКИ

О семейной традиции Россетов, которые, как уже отмечалось, были в родстве с Цициановым, «Дмитрий Евсеевич был русский Мюнхгаузен» (*Смирнова-Россет 1989: 477*). Есть основания предполагать, что версия эта непосредственно исходила от самого Цицианова, во всяком случае из его ближайшего окружения. А. Я. Булгаков писал в «Воспоминаниях о 1812 годе и вечерних беседах у графа Ф. В. Ростопчина»:

Граф Ростопчин уверял, что известная брошюрка под заглавием «Не любо — не слушай, а лгать не мешай» сочинена князем Цициановым, но что он не хотел выставить своего имени.

(*Булгаков 1904: 113*)

Маленькая справка. Издание «Не любо — не слушай, а лгать не мешай» представляет собой анонимный перевод «Удивительных приключений барона Мюнхгаузена» Г. Бюргера. В соответствии с современной библиографической традицией автором перевода считается литератор Н. П. Осипов. Не станем это оспаривать. Сейчас для нас важно другое: не только по семейным преданиям, но и в глазах высшего московского общества фигура Цицианова прочно связывалась с личностью легендарного фантазера, и это совсем не случайно.

Известный московский рассказчик строил свою жизнь по законам анекдотического эпоса, он живо, убедительно, самозабвенно играл роль «русского Мюнхгаузена» (кстати, история о том, что книжка «Не любо — не слушай, а лгать не мешай» сочинена князем Цициановым, возможно, представляет собой один из тех «остроумных вымыслов», которыми он любил тешить московское общество). В результате и был создан миф о «карателе лжи» старого русского барства.

Б. Л. Модзалевский в комментариях к пушкинскому «Дневнику» очень точно подметил: «Это была личность легендарная» (*Дневник Пушкина 1923*: 99). Характерно, что вокруг фигуры Цицианова уже в начале XIX столетия стал группироваться совершенно определенный круг сюжетных мотивов — стала намечаться фольклоризация образа. Суть этого процесса очень точно определил А. С. Пушкин:

Всякое слово вольное, всякое сочинение
противузаконное приписывают мне так,
как всякие остроумные вымыслы князю Ци-
цианову.

(Пушкин 1949: 23)

Однако если миф о Мюнхгаузене возник и утвердился путем значительной трансформации реальной личности барона за счет тех народных анекдотов-небылиц, которые стали приписывать ему (а сам барон безо всякой оглядки на реальность стал осмысляться в духе фольклорных представлений о рассказчике-вралe), то миф о «русском Мюнхгаузене» был создан отнюдь не в результате позднейших наслоений, хотя они и имели некоторое место, а в первую очередь самим Цициановым, в основе устных импровизаций которого лежала совершенно определенная творческая установка. Дмитрий Евсеевич выразил богатейший мир своей личности в форме, ориентированной на известный литературный образец, имевший свою фольклорную подоплеку. Моделируя собственную биографию, задавая ее эстетические параметры, Цицианов своими «остроумными вымыслами» выстраивал книгу о «русском Мюнхгаузене», и процесс это был совершенно осознанный.

То, что он соотносил свои устные рассказы с «Удивительными приключениями барона Мюнхгаузена», подтверждают не только семейные предания, вышедшие из круга Россетов, не только некоторые деклара-

тивные заявления, но и само творчество Цицианова. Попробуем это доказать.

В целом «остроумные вымыслы» «русского Мюнхгаузена» вполне оригинальны. Однако в книге Г. Бюргера есть два сюжета, совпадающие в основных своих чертах с двумя цициановскими анекдотами. Так, в «Удивительных приключениях барона Мюнхгаузена» читаем:

...Мне до глубины души стало жаль беднягу. Хотя у меня самого душа в теле замерзала, я все же накинул на него свой дорожный плащ. И тут внезапно из поднебесья явился голос, восхвалявший этот добрый поступок в следующих выражениях, обращенных ко мне:

— Черт побери, сын мой, тебе за это воздастся!

(Бюргер 1956: 10)

С приведенным эпизодом самым непосредственным образом соотносится следующий фрагмент из «Старой записной книжки» П. А. Вяземского:

В трескучий мороз идет он (Д. Е. Цицианов. — Е. К.) по улице. Навстречу ему нищий, весь в лохмотьях, просит у него милостыни. Он в карман, а там нет денег. Он снимает себя бекешу на меху и отдает ее нищему,

сам же идет далее. На перекрестке чувствует он, что кто-то ударил его по плечу. Он оглядывается. Господь Саваоф пред ним и говорит ему:

— Послушай, князь, ты много согрешил, но этот поступок твой один искупит многие грехи твои: поверь мне, я никогда не забуду его!

(Вяземский 1883: 146)

Теперь обратимся ко второму сюжету. В книге Г. Бюргера отыскиваем следующий фрагмент:

...Однако такую штуку я не решился выкинуть с бешеной собакой, которая вскоре после этого погналась за мной в одном из узеньких переулков Санкт-Петербурга. «Тут уж беги что есть мочи!» — подумал я. Чтобы легче было удирать, я скинул с себя шубу и поспешил укрыться в доме. За шубой я затем послал слугу и приказал повесить ее с другим платьем в гардероб. На следующий день меня до смерти напугали крики моего Иоганна. «О боже! — вопил он. — Господин барон! Ваша шуба взбесилась!»

(Г. Бюргер 1956: 23)

Чрезвычайно близкий по своей сюжетной структуре рассказ можно встретить среди мемуарных записей

А. О. Смирновой-Россет (Александра Осиповна зафиксировала его со слов самого Цицианова, так что никакой позднейшей фольклоризации, все из первоисточника):

Между прочими выдумками он (Д. Е. Цицианов. — *Е. К.*) рассказывал, что за ним бежала бешеная собака и слегка укусила его в икру. На другой день камердинер прибегает и говорит: «Ваше сиятельство, извольте выйти в уборную и посмотрите, что там творится». — Вообразите, мои фраки сбесились и скачут.

(Смирнова-Россет 1989: 477—478)

Приведенные факты свидетельствуют, что Цицианов в своем творчестве самым непосредственным образом отталкивался от книг о бароне Мюнхгаузене (прежде всего от бюргеровской) и что имя «русского Мюнхгаузена» было закреплено за известным некогда московским рассказчиком отнюдь не случайно. Но, конечно, ориентация на литературную модель далеко не всегда проходила столь прямо (сопоставления, предпринятые выше, касались двух исключительных случаев). И вообще, главное как раз не то, что Цицианов брал те или иные сюжеты из книг о бароне Мюнхгаузене, а то, что, творя свои «остроумные вымыслы», он во многом исходил из мюнхгаузенских традиций.

Между произведениями Э. Распе и Г. Бюргера и цициановскими анекдотами существовала любопытная общность, и проявлялась она далеко не только в сюжетных совпадениях. Общность эта заключалась в ориентации не на ситуацию, «играющую» под действительность, а на совершенно невероятное происшествие, «приправленное» точными бытовыми и психологическими деталями. И был еще какой-то особый тон в самом рассказывании о таких происшествиях.

Соединение фантастического в главном, в характере разворачивания сюжета с реальным в мелочах, в подробностях, постоянные заверения, что странные, невероятные события на самом деле произошли с повествователем или что он был их свидетелем, — все это придает совершенно особый колорит историям, вошедшим в книги о бароне Мюнхгаузене. В целом художественный текст и Распе, и Бюргера организован в соответствии с установкой на «правдивость» всем известного рассказчика-вралю. Прежде всего именно благодаря данной установке приключения Мюнхгаузена и производили во многом такой бурный комический эффект.

Невероятное эстетически особенно привлекательно тогда, когда оно преподносится как случай из жизни, как воспоминания бывшего человека. При этом смеются совсем не над самим Мюнхгаузеном. Он отнюдь не попадает впросак, нет, он смело и остроумно выкручивается из щекотливых и двусмысленных положений, доводит обыденную, тривиальную ложь до

абсурда, почему и назван «карателем лжи». В народных анекдотах-небылицах такие приемы неоднократно встречаются. Но у Бюргера и Распе они выглядят принципиально иначе, ибо являются уже совершенно осознанной идейно-стилевой доминантой произведения, фундаментальным принципом, определяющим главный эстетический эффект книги.

Конечно, вполне вероятно, что Цицианов учитывал фольклорные анекдоты-небылицы, но все-таки в целом он, создавая свою анекдотическую автобиографию, исходил из литературной модели, в которой были закреплены, осмыслены, творчески преобразованы традиции народного анекдота о невероятном реальном происшествии. Интересно при этом, что именно ориентация на культурную репутацию легендарного барона и помогла выявить свое, специфическое, придав особую законченность, выверенность, отшлифованность ярким цициановским историям. Более того, благодаря очевидной для окружения Цицианова и для высшего московского общества соотнесенности Дмитрия Евсеевича с репутацией легендарного барона, известный московский рассказчик из сферы быта выдвинулся в культурный ряд.

Собирая и анализируя «остроумные вымыслы» Цицианова, которые оказались рассеянными по целому ряду писем, дневников, воспоминаний, нам прежде всего хотелось воссоздать чрезвычайно интересное, но к настоящему времени практически забытое явление русской жизни конца XVIII — начала XIX ве-

ка — любопытнейшую фигуру старомосковского быта. Задача эта казалась тем более значительной и в историко-литературном отношении оправданной, что анекдоты Цицианова записывал и перерабатывал А. С. Пушкин. А затем выяснилась еще одна любопытная подробность: «остроумные вымыслы» легко и органично складываются... даже не в цикл, а в цикл циклов. Они строятся как единый художественный текст, как повествование о «русском Мюнхгаузене». На данном обстоятельстве стоит задержать внимание.

Анекдоты Цицианова представляли собой совершенно особый мир, эстетически организованную часть быта. Более того, анекдоты эти, как уже говорилось, складывались в своего рода книгу, но по характеру бытования своего оставались сугубо устными, что и определило специфику сюжетной структуры «Русского Мюнхгаузена».

Устные тексты, как показано в давнем уже, но отнюдь не устаревшем исследовании Б. М. Гаспарова «Устная речь как семиотический объект», развертываются и функционируют, в отличие от текстов письменных, не в соответствии с жесткой линейной зависимостью, когда одно звено обуславливает построение и характер последующего, а более свободно, без однозначно predetermined последовательности в расположении сюжетных звеньев — идет как бы смыкание смысловых блоков (Гаспаров 1978: 63—109).

Данная закономерность находит полное подтверждение в характере функционирования «остроумных

вымыслов» Цицианова. Они ведь не располагались в иерархически строгом пространстве, а стягивались в свободном, четко не запрограммированном порядке, циклизуясь вокруг личности легендарного врага — «карателя лжи». Собственно, ядро основного круга цициановских «остроумных вымыслов» и есть сам Цицианов.

В пределах книги о «русском Мюнхгаузене» отдельные сюжеты, каждый из которых имеет самостоятельное значение, сопрягаются, сцепляются без переходов, без соблюдения определенной последовательности эпизодов. В результате возникает произведение, у которого нет видимых «скреп» и «швов». Организующим, цементирующим началом этого текста, несомненно, является колоритная фигура Цицианова.

Оригинальный, своеобразный рассказчик строил свои устные новеллы и в целом формировал свою специфическую репутацию в обществе, явно учитывая мюнхгаузеновскую молель, явившуюся кристаллизацией опыта народных небылиц.

Таким образом, «остроумные вымыслы», существуя в границах старомосковского быта и не выходя из него, одновременно приобретали статус художественного текста, просто обладающего особой сферой бытования — устной.



ФЕНОМЕН МЮНХГАУЗЕНА
И ТВОРЧЕСТВО Д. Е. ЦИЦИАНОВА.
ОБ ОБРАЗЕ РАССКАЗЧИКА —
«КАРАТЕЛЯ ЛЖИ»

Выраженный Д. Е. Цициановым тип создателя забавных фантастических историй, как только что было отмечено, имел свою литературную модель, за которой, в свою очередь, стояли многовековые фольклорные традиции, являвшиеся почвой богатой и питательной, делавшие положение этой литературной модели особенно прочным и эффективным. Поэтому стоит более подробно рассмотреть соотношенность «русского Мюнхгаузена» с образом легендарного вряля.

Прежде всего коснемся самой техники рассказывания. Тут целесообразны были бы следующие сопоставления.

В самом начале этой главы уже пришлось цитировать предисловие к «Удивительным приключениям барона Мюнхгаузена» Г. Бюргера (фактически оно является установочным, содержа в себе ключ к лично-

сти знаменитого фантазера, который не столько стремился обманывать, сколько разоблачал обманы других, достоверно обнажая, демонстрируя саму тягу ко лжи). Сейчас вновь обратимся к тексту предисловия; приведем фрагмент, который поможет нам разобраться в цициановской поэтике:

Этот человек редкого благородства и самого оригинального склада мыслей. Заметив, по-видимому, как трудно подчас бывает втешать здравые понятия в бестолковые голы и как легко, с другой стороны, какому-нибудь дерзкому спорщику своим криком оглушить целое общество и заставить его потерять всякое представление о действительности, барон Мюнхгаузен и не пытается в таких случаях возражать. Он умело переводит разговор на безразличные темы, а затем принимается рассказывать о своих путешествиях, походах и забавных приключениях — и все это особенным, ему одному свойственным тоном. Но этот тон как раз и оказывается наиболее подходящим, чтобы обличить искусство лжи, или, выражаясь пристойнее, — искусство втирания очков, извлечь его из укромного уголка и выставить напоказ перед всеми.

(Бюргер 1956: 3—4)

Устойчивое стремление довести до абсурда, дать в целом фейерверке гротескных историй определенные особенности психического склада человека — все это и обусловило особую функцию «карателя лжи», которая во многом как раз и определила характер Цициановского творчества. Данное обстоятельство выше уже подчеркивалось. Заострим сейчас на нем внимание, чтобы провести одно любопытное, как кажется, сопоставление.

А. Я. Булгаков писал в «Воспоминаниях о 1812 годе и вечерних беседах у графа Ф. В. Ростопчина»:

У него (Д. Е. Цицианова. — Е. К.) были всегда и на все случаи готовы анекдоты, и когда кто-нибудь из присутствующих оканчивал странный или любопытный рассказ, то Цицианов спешил сказать: «Да это что? Нет, я вам расскажу, что со мною случилось...» — И тогда начиналась какая-нибудь история или басенка.

(Булгаков 1904: 113)

Полагаем, что прямая перекличка между бюргеровским определением поведения Мюнхгаузена и свидетельством А. Я. Булгакова о творческой манере Цицианова-рассказчика совершенно очевидна. Однако при всей несомненности отмеченной общности преувеличивать ее значение все же не стоит.

То, что московский рассказчик создавал свои невероятные истории именно в ответ на передававшиеся в обществе странные и нелепые происшествия, дабы их развенчать, довести до какого-то логического предела, дабы наглядно и убедительно, в форме предельно заостренной, обнажить искусно прикрытую лживость, — да, это как раз и являлось реализацией мюнхгаузеновской модели поведения. Однако выводить из данной модели все творчество Цицианова или сводить к данной модели все наследие легендарного Дмитрия Евсеевича, богатое, яркое, самобытное, было бы не только слишком прямолинейно, но и не-объективно.

Взятая на вооружение Цициановым функция «карателя лжи» наполнялась им гаммой весьма специфических тонов, что было совершенно естественно, и вот почему.

Устное творчество популярного рассказчика существовало, конечно, не в пустом пространстве. У него была своя аудитория. И «русский Мюнхгаузен», творя, безусловно, рассчитывал на определенного типа реакции, которые должны были вызывать сюжеты его невероятных забавных историй, на особое понимание интересного и занимательного. Более того, «остроумные вымыслы» Цицианова, при всем том, что их течение прежде всего определяла буйная фантазия автора, по-своему отражали вкусы, нравы, представления, которые были присущи быту барской Москвы.

Шумный, хлебосольный, полный оригинальных выходов записных чудаков и остряков, он заключал в себе своеобразный, неповторимый мир:

Москва вообще исстари славилась чудаками и оригиналами, которые точно целью жизни поставили себе жить не как все, а по-своему... и в Москве это не только никого не раздражало, а напротив, такие чудаки пользовались всеобщими симпатиями, может быть, за то развлечение, за ту возможность поговорить и посудачить, которую они доставляли своим согражданам, тем более что эти сограждане и сами любили ни в чем меры не знать.

(Князьков 1908: 34)

Такова была та атмосфера, в которой утвердился творческий стиль Д. Е. Цицианова.

Документальных данных о «русском Мюнхгаузене», как уже отмечалось, практически не сохранилось (не за что зацепиться, даже послужного списка нет — как будто он нигде не служил). Но тем не менее восприятие этой любопытнейшей фигуры современниками с большей или меньшей точностью можно все-таки реконструировать.

А. Г. Хомутова, давая в «Записках» описание торжеств по случаю победы над Наполеоном, упомянула и Цицианова:

Двор и весь город были в Казанском соборе. Императрица, великолепно одетая, сияла счастьем. Духовенство, блистая золотом, пело государственный молебен при громе пушечных выстрелов... Возвратясь домой, мы нашли в гостиной Волынского, рассуждавшего, как истый гастроном, о том обеде, который купцы намеревались дать Кутузову, старого князя Цицианова, вспоминавшего праздники князя Потемкина и лгавшего без меры.

(Хомутова 1867: 1055)

Конечно, это всего лишь упоминание, но и оно показательно. Прежде всего важно то, что в описание праздничных торжеств вообще было вкраплено имя Цицианова. Дело в том, что в картине, нарисованной А. Г. Хомутовой, место для него нашлось совсем не случайно, и вот почему.

Мы уже отмечали, что Цицианов целый ряд своих невероятных историй полемически противопоставлял временам Александра Первого и особенно Николая Первого, выстраивая живую, колоритную картину екатерининского царствования как истинно великолепного. Вот и в данном случае в ответ на торжества в Казанском и обсуждение обеда в честь М. И. Кутузова, Цицианов и стал вспоминать о грандиозных потемкинских пиршествах, и вспоминать, естественно, в духе своих «остроумных вымыслов». В тот истори-

ческий момент это звучало настолько неожиданно, настолько диссонировало со всеобщими патриотическими восторгами, что мемуаристка просто не могла не упомянуть полемические эскапады Цицианова, оригинально и ярко преображавшего прошлое в живые, сочные, гиперболически заостренные сценки.

Упомянул Цицианова в своих «Записках» и декабрист Н. И. Лорер, но уже в несколько ином контексте:

Приехав в Москву, я остановился у своего дяди по матери, князя Д. Е. Цицианова. Он был известен в то время своею роскошью и в особенности обедами, за которыми угощал тогдашних знаменитостей большого света, и кончил впоследствии тем, что проел шесть тысяч душ.

(Лорер 1904: 52)

Кстати, в другом месте своих «Записок» Н. И. Лорер писал о «гомерических обедах» у Цицианова. Эти детали были зафиксированы мемуаристом совсем не случайно.

Хлебосольством в барской Москве было трудно удивить. Но весь стиль жизни Цицианова был рассчитан именно на изумление зрителей и слушателей. И он, действительно, затмевал буйным полетом своей фантазии присяжных рассказчиков и забавников. Поражал он и своим невероятным гостеприимством («гомерические обеды»), подчеркивая, что он не толь-

ко московский аристократ, но и князь, близкий к грузинскому царскому дому.

Вообще этой подлинно артистической натуре совершенно необходимо было, чтобы окружающие поверили в его баснословную, сказочную роскошь. Для чего? Несомненно, никакой выгоды Цицианов не искал. Но творил легенду, лепил свой собственный образ, каждая черточка которого может быть охарактеризована, только если прибавить к ней частицу «сверх».

Он рассказывал, что у него в имении есть свой конский завод, что у него изумительные арабские скакуны, дарил знакомым отборных жеребцов; между тем он их покупал за дорогого, прежде чем подарить, ибо никакого конского завода у него не было.

С. П. Жихарев в «Записках современника» поведал, как, попав в Кусково на обед к Н. А. Дурасову, он стал жертвой мистификации, главным «застрельщиком» которой явился Цицианов. Вот каковы были самые первые впечатления мемуариста, когда он еще находился под чарами «русского Мюнхгаузена»:

Князь Цицианов рассказывал множество случившихся с ним происшествий, которым нельзя было не удивляться... (далее следует история о рыбьем сукне, которая выше уже приводилась. — *Е. К.*) Каких чудес нет на свете! К числу этих чудес можно отнести и то, что рассказчик, кушая с величайшим аппе-

титом, и все жирное, ничего не пил, кроме полузамороженной воды; говорил, что отроду не отведал ни вина, ни пива, ни даже квасу, а водки и подавно. Он также сам великий хлебосол и мастер выдумывать и готовить кушанье.

(Жихарев 1955: 38)

В приведенном свидетельстве хорошо показано, что рассказы Цицианова точно вписывались в общий стиль его поведения, более того, являлись вершиной этого стиля, его высшей точкой. Кульминация же жихаревского сообщения — это, несомненно, слова о грузинском князе, никогда не пробовавшем вина. При чем С. П. Жихарев поверил этому, как поверил рассказу о сукне, вытканном из рыбьей шерсти. Поверить во все это не так уж и легко. И все же мемуарист не устоял. Как же это могло случиться?

Обратите внимание: автор «Записок современника» достаточно ясно дает понять, что Цицианов в своих импровизациях, в своих смелых, дерзких фантазиях был удивительно искренен и психологически убедителен. И вот что еще интересно. Он ставил перед собой задачу достаточно сложную, ибо хотел, чтобы поверили в то, что представляется откровенно немыслимым, невероятным, невозможным. И «русский Мюнхгаузен» в самом деле доказывал, что у вымысла есть своя особая правда, своя логика, свой модус реальности. Да, Цицианов был убедителен, достоверен,

но достигалось это отнюдь не самопроизвольно, ибо было результатом особой творческой установки.

Рассказчику нужна, необходима была доверчивость, восприимчивость тех, кто способен был не на шутку увлечься полетом его неудержимой фантазии, ему нужно было, чтобы хоть кто-то воспринимал его «остроумные вымыслы» всерьез, хотя бы на время, на миг. Вновь обратимся теперь к мемуарному свидетельству С. П. Жихарева:

...А сукно из рыбьей шерсти и приключения на Каспийском море неужто были одни сказки... Опростоволосился же я порядочно! Пусть основанием этих сказок и служит искреннее желание угостить, однако же зачем вводить в такое заблуждение!.. А я, конопляник, давай рассказывать каждому встречному и поперечному за неслыханное диво о знаменитом хозяйстве люблинского владельца, у которого в доме все свое и купленного ничего нет, давай повторять историю о рыбьем сукне...

(Жихарев 1955: 39)

Несомненно, на такого рода доверчивость главным образом Цицианов и рассчитывал, разыгрывая перед студентом Московского университета Степаном Жихаревым целый ряд как будто случившихся с ним происшествий, преподнося в своих историях паро-

дию и гротеск под видом самой очевидной реальности. Доверчивость хотя бы нескольких слушателей была здесь не просто нужна, но необходима. В противном случае анекдот работал бы совсем вхолостую. Хотя кто-то должен был «попасться на удочку» к рассказчику-вралю. Если же «остроумный вымысел» вызывал один лишь смех, значит, он не выполнял основной своей функции. Но если кто-то все же начинал верить в него, то тем самым сюжетное развитие анекдота-небылицы получало свое завершение, ибо текст обретал искомую остроту и пикантность, получал особую художественную убедительность.

Когда ложь строится просто как ловкая имитация правды, когда нереальность рассказываемого случая всячески камуфлируется, то ничего особенно интересного, психологически увлекательного тут нет. Но Цицианов в одежды правды облек свои «остроумные вымыслы», при этом совсем не пытаясь сгладить их фееричность, преображенность фактов действительности пылким темпераментом. Это производило яркое эстетическое впечатление; более того, подобно цепной реакции, способствовало появлению новых острот, шуток и даже целых рассказиков.

Так, С. П. Жихарев говорит о тех игровых продолжениях, которые имел в московском обществе цициановский анекдот о рыбьем сукне:

...врозглазая Арина Петровна не перестанет теперь преследовать меня рыбьим сук-

ном, а злодей Н. А. Новиков советовал уже мне обратиться, по принадлежности, к Антонскому как профессору энциклопедии и натуральной истории за сведениями о рыбьей шерсти.

(Жихарев 1955: 39)

Приведенное свидетельство очень показательное. Оно демонстрирует: анекдоты Цицианова находили в барской Москве живейший отклик и понимание. Современники остро ощущали цициановскую стилевую манеру. Более того, они подыгрывали, поддерживали ту «сольную партию», которую вел знаменитый рассказчик.

Любопытная зарисовка находится в неоднократно уже цитировавшихся нами «Воспоминаниях о 1812 годе и вечерних беседах у графа Ф. В. Ростопчина» А. Я. Булгакова — точнее даже, это одно из ценнейших наблюдений о репутации Цицианова-рассказчика:

Он (Д. Е. Цицианов. — Е. К.) был человек добрый, большой хлебосол и отлично кормил своих гостей, но был еще более извештен, с самых времен Екатерины, по приобретенной им славе приятного и неистощимого луна. Слабость эту прощал ему всякий весьма охотно, потому что она не была никогда обращена ко вреду ближнего. Цициа-

нова лжи никого не оскорбляли, а только всех смешили.

(Булгаков 1904: 113)

Эти слова А. Я. Булгакова достаточно определенно выделяют в жизненном стиле Цицианова в качестве доминанты творческий фактор. Действительно, Дмитрию Евсеевичу славу все же составило не хлебосольство, какими бы «гомерическими» ни были его обеды, а виртуозное мастерство рассказчика. «Лжи Цицианова» — это было целое явление в жизни старой Москвы, да и до Петербурга долетали отголоски.

Свидетельство А. Я. Булгакова, кажется, совершенно уместно будет дополнить воспоминанием П. А. Вяземского, увидевшего в «остроумных вымыслах» Цицианова истинное искусство:

Есть лгуны, которых совестно называть лгунами: они своего рода поэты, и часто в них более воображения, нежели в присяжных поэтах. Возьмем, например, князя Цицианова...

(Вяземский 1883: 146)

Весь круг приведенных и прокомментированных данных, как представляется, в достаточной степени характеризует личность Д. Е. Цицианова, его парадоксальный, своеобразный ум, смелую, причудливую фантазию и, наконец, необыкновенно точную впи-

санность фигуры оригинального рассказчика в быт барской Москвы, в систему ее поведенческих норм. Но особенно важно то, что мемуарные зарисовки, сделанные А. Я. Булгаковым и П. А. Вяземским, выделяют следующее принципиальной важности обстоятельство: Цицианов не лгал и не обманывал, а творил особый мир, управляемый своими собственными законами.



АНЕКДОТЫ Д. Е. ЦИЦИАНОВА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ

Знаменитое наследие Д. Е. Цицианова, специально никогда не привлекавшее внимание исследователей и даже никогда не собиравшееся, тем не менее представляет несомненный историко-литературный интерес. Но мы сочли необходимым посвятить творчеству виртуозного рассказчика отдельную главу не только по этой причине. Обращаясь к теме цициановских «остроумных вымыслов», мы хотели продемонстрировать, что взаимоотношения анекдота с миром литературы непросты и неоднозначны.

В основе книг о бароне Мюнхгаузене Э. Распе и Г. Бюргера лежат международные сюжеты анекдотов-небылиц, введенные в определенную эпоху и циклизированные вокруг реального образа. Книги о Мюнхгаузене стали популярными и даже по тогдашним понятиям массовыми; стали издаваться они и в России в виде переводов и переделок. Кроме того, они (осо-

бенно «Удивительные приключения барона Мюнхгаузена» Г. Бюргера) явились своего рода литературной моделью для Цицианова, который в соответствии с нею организовывал мир своей личности, строил свою биографию.

Анекдоты Цицианова, ориентируясь на совершенно очевидную литературную модель, которая имела фольклорные источники, стали, в свою очередь, сами проникать в литературу: попали, например, в роман в стихах «Евгений Онегин», в поэму «Домик в Коломне», в комедию Шаховского.

Что же получается? Анекдот — жанр устный, испытывав воздействие книжной культуры и поднявшись фактически до статуса художественного текста, начинает сам влиять на литературу, но именно уже как художественный текст. В самом деле, в пушкинский роман в стихах была включена не фольклорная небывлица, а именно литературный анекдот, устный, но имеющий своего строго определенного автора и представленный в индивидуальной стилистической манере.

Возникает достаточно любопытная ситуация. Осмысление ее помогает установить следующее.

Безусловно, верно то положение, что литература проецируется в анекдот; причем фольклорная основа при этом не отбрасывается, а только преобразуется, шлифуется, ведь анекдот становится жанром литературным, письменным, он обретает своих авторов и свою особую поэтику. Но одновременно оказывает

ся верным и то положение, что анекдот, обогащенный и углубленный, проецируется в литературу.

Процесс отношений анекдота с литературным миром оказывается совсем не однолинейным, его характеризуют взаимные переходы, переливы, тесные переплетения устной и письменной сфер бытования. Во всяком случае, в этом убеждает обращение к творчеству виртуозного рассказчика Д. Е. Цицианова — «русского Мюнхгаузена».



Дополнения
к главе второй,
возникшие в ходе
подготовки книги
к печати



Первый раздел
«РУССКИЙ МЮНХГАУЗЕН»
И «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

*К*ак нам удалось установить, цициановские анекдоты проникли и в роман в стихах «Евгений Онегин», и в поэму «Домик в Коломне». Правда, произошло это на уровне вкрапливания анекдотов «русского Мюнхгаузена» в локальные эпизоды пушкинских текстов, и все же тенденция обнаруживается весьма любопытная. Теперь уже можно с полной определенностью говорить о неоспоримом интересе А. С. Пушкина к творчеству «русского Мюнхгаузена». Но нам представляется, что тут дело не ограничилось одними мелкими вкраплениями, что вкрапление цициановских текстов в мир А. С. Пушкина произошло и на более основательном сюжетном уровне.

Роман «Капитанская дочка» — самое крупное прозаическое произведение Пушкина, доведенное им до конца, отшлифованное и обработанное. Главный сюжетный нерв этого текста, несомненно, заключается в мотиве чудодейственной благодарности.

Буря в степи. Путник, едущий в кибитке, теряет ориентацию. Вдруг замечена какая-то черная точка, которая оказывается неизвестным бродягой в армяке, то есть без верхней одежды. Бродяга выводит путника к постоялому двору — спасает его. В благодарность путник хочет дать бродяге деньги, но дядька, сопровождающий путника, отказывает, и тогда путник дарит бродяге свой заячий тулуп. Бродяга говорит ему: «Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». И бродяга и правда не забыл о дарованном ему заячьем тулупчике. Началось восстановление, бродяга оказался его жожаком, и он спас от гибели и самого путника, и даже его невесту.

Такова сюжетная канва книги. Ее многократно комментировали и пытались как-то объяснить. Источник находили и в рассказе малоизвестного прозаика Н. Страхова «Благодарность», и в романе Загоскина «Юрий Милославский» или же выводили сюжетную основу «Капитанской дочки» из традиций волшебного-сказочного повествования. Между тем в том, что совершили путник и бродяга, совершенно нет ничего сказочного.

Роман Пушкина вышел не из сказки, а из анекдота, строящегося как невероятное реальное происшествие. И анекдота совершенно конкретного. Причем у этого анекдота даже есть свой автор — Д. Е. Цицианов, хоть он, творя, и опирался на книги о бароне Мюнхгаузене. Анекдот зафиксирован в «Старой записной книжке» П. А. Вяземского и уже здесь цитировался (см. на с. 162):

Если игнорировать все детали, то структура этого анекдота такова. Действующие лица — путник и бро-

дыга. Общая обстановка, характеризующая ситуацию: сильный мороз, бродяга замерзает. Специфика действия: путник не может дать денег, и тогда он дает бродяге свою верхнюю одежду (бекеша, шуба, тулуп), звучат слова о вечной благодарности.

Именно эта сюжетная структура и заинтересовала Пушкина и подтолкнула его к созданию главного мотива «Капитанской дочки, только он еще более усилил всамделишность ситуации: бог Саваоф убран, и максимально развернута тема ответных даров — бродяга показывает, что он и в самом деле не забыл оказанной ему милости, когда он погибал от стужи.

Так что опыт «русского Мюнхгаузена» вполне мог быть учтен Пушкиным при работе над «Капитанской дочкой» Это вполне могло быть.

В дневниковой записи от 8 марта 1834 года он упоминает цициановские «новости-анекдоты». Вероятнее всего, в годы работы над «Капитанской дочкой» Пушкин общался с «русским Мюнхгаузеном». В словаре-справочнике Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» читаем: «Можно предположить знакомство Пушкина с Цициановым в его приезды в Москву» (*Черейский 1988: 482*). А в 1832 году А. С. Пушкин очень интенсивно общался с А. О. Смирновой-Россет, интересующий нас анекдот он мог узнать и от нее. К работе над «Капитанской дочкой» он приступил в 1833 году.

И в любом случае феномен «русского Мюнхгаузена» представлял для А. С. Пушкина живейший интерес.



Второй раздел
УСТНЫЕ НОВЕЛЛЫ
Д. Е. ЦИЦИАНОВА
В МЕМУАРНОМ НАСЛЕДИИ
А. О. СМИРНОВОЙ-РОССЕТ

(ПЯТЬ ЗАМЕТОК)

О мемуарному наследию А. О. Смирновой-Россет («Дневник», «Автобиография», «Записки») в нескольких местах буквально рассыпаны целые мириады цициановских текстов — упоминания, фиксация остроумных высказываний, сжатые пересказы устных новелл.

Многие из них нам удалось уже выудить и присоединить к основному корпусу «русского Мюнхгаузена», но, как выясняется теперь, далеко не все.

Вот некоторые добавления — еще несколько «остроумных вымыслов» Д. Е. Цицианова, вычлененных из состава мемуарного наследия А. О. Смирновой-Россет.

1. ПОРУЧЕНИЕ СУВОРОВА

Приведем рассказ Д. Е. Цицианова о том, как он выполнял просьбу А. В. Суворова (текст следует сразу же после истории о том, как Дмитрий Евсеевич вез в дар Григорию Потемкину легкую, как пух, шубу):

«Я тебе вот что еще скажу: когда Суворов жил у себя под Крестцами, он меня просил давать всякий день Марье Осиповне Нарышкиной, его свояченице, целковый. Она в Петергофе сидела под окошком, и я ей бросал целковый прямо в комнату, и этак семь недель кряду ни разу не дал промаху». — «Дедушка, это невозможно». — «Как невозможно? Когда я тебе говорю, это всегда правда».

(Смирнова-Россет 1989: 478)

В этой истории, как всегда у Цицианова, неожиданно восхитительный именно финал, и он тут прямо несет следы мюнхгаузеновской поэтики. Человек с репутацией отъявленного вралю рассказывает невероятную историю и с пеной у рта настаивает на ее исключительной правдивости.

2. О ВЗБЕСИВШИХСЯ ШТАНАХ

Мы уже говорили, что Д. Е. Цицианов, напрямую отталкиваясь от одной мюнхгаузеновской истории, рассказывал, что как-то на петербургской улице его укусила бешеная собака, он убежал от нее, придя домой, повесил одежду свою в шкаф, но потом оказалось, что его фрак взбесился. Этот анекдот Д. Е. Цицианов, как видно, рассказывал многократно.

И А. О. Смирнова-Россет сохранила еще одну его версию, полную любопытных деталей:

Потом однажды он (Д. Е. Цицианов. — *Е. К.*) входит к своей жене, в гостиной были люди, говорит ей: «Княгиня, представь себе, что со мной случилось вчера: я шел, как всегда, с палкой, за мной бежала бешеная собака и хотела меня схватить за икры (он всегда носил короткие панталоны и черные шелковые чулки), она оторвала кусок фрака, я ее треснул по голове, она околела. Сегодня бежит ко мне Сергей и говорит: „Ваше сиятельство, извольте выйти в уборную“. Все мои фраки, штаны прыгают во все стороны, взбесились, я велел их сжечь».

(Смирнова-Россет 1989: 503)

В этой версии Д. Е. Цицианов не убежал от бешеной собаки, как было зафиксировано в другой записи, сде-

ланной А. О. Смирновой-Россет, а прибил ее палкой, и она в результате околела. А его штаны не просто взбесились — рассказчик подчеркнул и, возможно, даже показал через свои жесты, что они стали прыгать во все стороны, — деталь выразительная, живописная, колоритная, усилившая эффектность и динамизм всего анекдота.

Вообще ведь устный текст не может иметь канонической редакции, он всегда вариативен, и каждая версия имеет свои достоинства. Это в полной мере имеет отношение к «остроумным вымыслам» Цицианова. Человек пылкого воображения и острого темперамента, он каждый раз рассказывал по-разному, в зависимости от состава аудитории.

3. Совет касательно того, как можно обходиться без зонтиков

Знаменитый цициановский анекдот о том, как Дмитрий Евсеевич во время проливного дождя явился к приятелю и тот удивился, как это он не промок, был в свое время приведен П. А. Вяземским в его «Старой записной книжке».

В версии П. А. Вяземского «русский Мюнхгаузен» представлен светским московским краснобаем и остряком. Но в кругу А. О. Смирновой-Россет сохранился и интимно-семейный вариант этой истории, демонстрирующий, как Цицианов эффектно и убедитель-

но, с искристым блеском дурачил младшее поколение своих родственников:

Когда племянники просили у него (Д. Е. Цицианова. — *Е. К.*) денег купить дождевые зонтики, он советовал им следовать его примеру:

— В моей молодости, — говорил он, — зонтик был мне только лишнею обузою, и я умел пробираться между каплями дождя так прекрасно, что никогда не промокал.

(Русский архив 1889: 86)

4. КАК МУЖ ЖЕНУ УТЕШАЛ

Д. Е. Цицианов был женат на Варваре Егоровне Грузинской, не просто княжне, а настоящей царевне. Правда, она любила другого Цицианова — Павла Дмитриевича, но отец ее царевич Георгий выдал ее за Дмитрия Евсеевича. Кстати, сын последнего Дмитрий Дмитриевич служил на Кавказе под началом Павла Цицианова и был убит в бою.

Рассказ об этом «русского Мюнхгаузена» сохранила для истории А. О. Смирнова-Россет:

— Ну, я, брат от Ростопчина... Мой Дмитрий смертельно ранен, и моя княгиня уж пустилась по церквям, я ей говорю: «Вы хнычете

оттого, что богомольны и забываете слова апостола Павла, что мы все там увидимся».

(Смирнова-Россет 1989: 263)

Запись чрезвычайно краткая, конспективная. Реконструировать рассказ Д. Е. Цицианова можно примерно следующим образом, но прежде одно наблюдение: Дмитрий Евсеевич совершенно в любой ситуации оставался отчаянным балагуром и ради того, чтобы озадачить слушателей, готов был буквально на все.

Так, Цицианов, видимо, говорил своим знакомым, что, утешая супругу в ее горе, он вспоминал слова апостола Павла. «Какие именно слова апостола, — изумлялись слушатели, — и какое отношение могли они иметь к судьбе офицера Дмитрия Дмитриевича Цицианова?» — «А вот какое отношение они могли иметь, — отвечал Цицианов, — апостол сказал, что все мы там встретимся. Вот я и убеждал княгиню Варвару Егоровну, что ей нет никакого смысла отчаиваться, рыдать и молиться, надо только подождать, ибо все мы рано или поздно там увидимся».

5. «Русский Мюнхгаузен» — декабрист

Д. Е. Цицианов попробовал себя и в роли бунтовщика. Он одобрил идею восстания, был против воцарения Николая Павловича, но когда узнал, что восстание разгромлено, буквально тут же заявил, что Николай

будет хорошо царствовать. Вот прелестная новелла о комическом героизме «русского Мюнхгаузена» и об участии его восстании декабристов:

В день 14-го он (Д. Е. Цицианов. — Е. К.) причинил смертельное беспокойство. Один из заговорщиков, Оболенский, пришел к нему завтракать и сказал, что император будет схвачен, провозглашена конституция, словом, все их преступные глупости. Вообразите, что сказал этот старый безумец: «Я сам буду рад. Ну что это, после Александра выбрали этого мальчишку Николая. Пойду с вами бунтовать». Он держался на расстоянии и приблизился к карете митрополита Серафима, сказал ему: «А ты что тут делаешь, старый дурак? Видишь, что народ тебя не слушает, убирайся домой». Он вернулся домой только в семь часов вечера, говоря: «Все видел, на народ стреляли, значит, Николай не трухнул и будет хорошо царствовать».

(Смирнова-Россет 1989: 504)

Среди бумаг А. О. Смирновой-Россет сохранился и вариант этой истории, точнее, воспроизведена часть ее, а именно диалог с митрополитом Серафимом, и еще необычайно важно сделанное указание, что Дмитрий Евсеевич находился в тот день на Сенатской площади.

Кстати, митрополит Серафим и в самом деле 14 декабря 1825 года поехал увещевать восставших, вышел из своей кареты, но до восставших так и не добрался, в спешке взял извозчика и вернулся к себе. Историки никак не могли объяснить этого стремительного бегства. Может, стоило бы прислушаться к рассказу князя Цицианова? «Русский Мюнхгаузен» и его «остроумные вымыслы» тут очень даже могут пригодиться.

Вот этот вариант рассказа об участии Цицианова в восстании декабристов:

Митрополит Серафим остановлен был чернью в переулке. Дмитрий Евсеевич подошел к его карете и сказал ему: «Что ты, старый дурак, тут делаешь? Ступай в Лавру». Утром у него был Оболенский и все ему рассказал, он надел шапку и отправился на площадь.

(Смирнова-Россет 1989: 141)

Как это ни парадоксально звучит, но иногда даже и «лжи» князя Цицианова могут, оказывается, выступать в значении полноценного исторического источника.

Не зря, как видно, Дмитрий Евсеевич долгие годы кричал в московских и петербургских гостиных о своей неслыханной правдивости, что, правда, вызывало неизменно дружный взрыв хохота, что, впрочем, ничуть не останавливало князя, и не думавшего отказываться от того, что рассказываемая им история достоверна ничуть не в меньше степени, чем предыдущая.

Но на Сенатской площади 14 декабря 1825 года он как будто и в самом деле побывал и митрополита таки отогнал от восставших, видимо всей душой надеясь, что восстание состоится и лишит власти «мальчишку» Николая Павловича.

Бесспорно и то, что к внукам Екатерины Великой князь Цицианов, как видно, относился с изрядной долей скепсиса, полагая, что они (и особенно Николай Павлович) недостойны своей бабки.

Все дело в том, что на людей и события XIX века, как мы полагаем, Дмитрий Евсеевич, не скрываясь, смотрел как человек XVIII столетия, как салонный говорунок и забавник старой закалки, как легкомысленный вольнодумец, как человек из ближайшего окружения Григория Потемкина, ублажавший некогда светлейшего князя своими невероятными историями, как человек, своими «остроумными вымыслами» воспевавший екатерининскую эпоху и противопоставлявший ее той маловеселой современности, в которой он оказался в декабре 1825 года.

В любом случае появление Дмитрия Евсеевича Цицианова 14 декабря 1825 года на Сенатской площади — случай не только забавный, но и симптоматичный, случай глубоко показательный, кое-что дополнительно открывающий в личности знаменитого балагура, фантазера, рассказчика...



Третий раздел
«РУССКИЙ МЮНХГАУЗЕН».
Последние годы жизни

*Д*митрий Евсеевич Цицианов, создатель и непревзойденный рассказчик «остроумных вымыслов», умер в 1835 году, шел ему тогда 88-й год. В последние годы правления Александра Первого и самое первое время по воцарении Николая Первого жил он в Санкт-Петербурге, у своей племянницы Марии Ивановны Лорер (она была замужем за сыном его сестры Екатерины Евсеевны), в доме Грачева, на Гороховой улице.

В генеалогической росписи рода Цициановых указывалось, что в 1816—1825 годах Дмитрий Евсеевич состоял членом Санкт-Петербургского Английского собрания, то есть те девять лет он, как мы полагаем, проживал в столице Российской империи; целые девять лет услаждал и радовал петербуржцев своими забавно-фантастическими устными новеллами.

Так что надо признать: если наши предположения верны, то петербургский период в жизни и творчестве князя Цицианова был не так уж и кратковременен — от завершения войн с Наполеоном до восстания декабристов.

Дмитрий Евсеевич в первую очередь есть явление «допожарной Москвы». Именно в ней он был по-настоящему знаменит. И с ее исчезновением он потерял не только свою публику, но и последние остатки своего некогда очень большого состояния. В основном Цицианов его «проел», а остальное довершил Наполеон со своей «Великой армией». Остался у него в Москве лишь маленький одноэтажный домик (почти избушка), но там поселилась супруга князя. Об этой ситуации речь у нас еще впереди...

Итак, Дмитрий Евсеевич после войны 1812 года был вынужден уехать в Петербург. Однако похоронен был «русский Мюнхгаузен» все же в Москве, на Пятницком кладбище (там же нашла последнее упокое и дочь его Елизавета Дмитриевна; лежать же в одной могиле и даже на одном кладбище с супругой своей Варварой Егоровной — она преставилась еще в 1832 году — он решительнейшим образом отказался. «Да и в страшном сне такое не приснится, — говорил по данному случаю Дмитрий Евсеевич. — Упаси Господь от жуткой такой перспективы».

Однако «русский Мюнхгаузен» не просто похоронен в Москве. Цицианов провел в Москве все последние годы своей жизни (фактически этот период укла-

дывается аж в десять лет, с 1825 по 1835 год, первые десять лет николаевского царствования); вот какие этому сопутствовали обстоятельства, не только сугубо личные, но еще и общественно-политические.

Мария Ивановна Лорер, дочь псковского губернатора екатерининских времен Ивана Николаевича Корсакова, была богатейшая особа, одно только ее имение Гарни, не так далеко от Петербурга, содержало тысячу душ. Так вот она взяла к себе Цицианова (но только одного, без супруги, она на этом настояла, впрочем, Цицианов и не собирался возражать) в свою громадную петербургскую квартиру. Но потом Мария Ивановна решила путешествовать (она была теткой декабристов Коновницыных и Михаила Нарышкина, сосланных на Кавказ; вообще ей весьма неприятно стало находиться в России после казней и расправ, устроенных императором Николаем Первым) и уехала надолго в Европу, обосновалась в Италии. Вот и пришлось Дмитрию Евсеевичу после девятилетнего житья в Санкт-Петербурге возвращаться в Москву.

Поселился он в маленьком одноэтажном домике с лаковой мебелью, практически находясь на полном содержании у своего камердинера Сергея Михеевича.

Да, сей невзрачный домик — это было последнее, что оставалось от громадного некогда богатства Цициановых, и в нем именно поселилась княгиня Варвара Егоровна со своей экономкой и горничными. Возвращение из Санкт-Петербурга Дмитрия Евсеевича

вскорости нарушило ее покой. Княгине надоели его «лжи» и его «гнусное вольтерьянство», как она говорила. И наступил момент, когда она велела уложить свой скarb в родовые кованые сундуки, схватила экономку и горничных и, пребывая в состоянии крайнего гнева, съехала из домика с лаковой мебелью, отныне решительно отказываясь пребывать на одной территории с Дмитрием Евсеевичем.

Этот малопрезентабельный домик, между прочим, был расположен у Трухмальных (Триумфальных) ворот, что на площади Тверской заставы, и совсем поблизости от Английского клуба, за что Цицианов как раз особенно и ценил свой маленький домик с лаковой мебелью. Дмитрий Евсеевич ведь был старшиной и пожизненным почетным членом Московского Английского клуба.

Маленькое разъяснение. Английский клуб был громаднейшей привязанностью Цицианова, был для него настоящей сценической площадкой, и, конечно же, он когда-то совсем неслучайно приобрел себе обитель поблизости.

Дмитрий Евсеевич являлся одним из истинных отцов Московского Английского клуба. Вот в чем тут дело. Павел Петрович, взойдя в 1796 году на престол, запретил Московский Английский клуб. А с восшествием в 1801 году Александра Павловича именно не кто иной, как Цицианов восстановил в 1802 году Английский клуб, в полной мере возродил его, чем он гордился до конца дней своих: «Дмитрий Евсеевич завел Ан-

глийский клуб в Москве и очень его посещает» (Смирнова-Россет 1989: 125).

Дмитрий Евсеевич посещал Английский клубе едва ли не ежедневно (пока ноги носили), и там его всегда ждали, особенно часто просили рассказывать истории про цициановскую шубу и про пчел размером с воробья, а самого князя не раз именовали по его гениальной формуле — «хоть тресни, да полезай», а вернее так: «князь Хоть тресни, да полезай».

Итак, «русский Мюнхгаузен» по возвращении в Москву жил в своем миниатюрном домике под опекою Сергея Михеевича. Это именно тот самый легендарный камердинер Сергей, который в известнейшем рассказе Цицианова говорил: «Ваше сиятельство, извольте взглянуть — ваши фраки перебесились и так и скачут».

Цицианов сам ходил на рынок за провизией и любил встречному и поперечному со всякими подробностями рассказывать о тех роскошнейших приемах, что в свое время он устраивал в честь князей Вяземских и Мещерских, Льва Нарышкина и даже самого Григория Потемкина. Он до самого своего конца оставался неутомимым говоруном и остряком, необычайно пылким фантазером: буйно-игривое воображение никогда не оставляло его. Богатства улетучились давно и навсегда, но он никоим образом не унывал и завирался блистательно остроумно.

Супруга же его Варвара Егоровна, урожденная царевна Грузинская, жила в последние годы отдельно от

Дмитрия Евсеевича, но тоже в Москве (сначала приживалкой у некоей Лопухиной, где она претерпела массу унижений, а потом особо, в доме у Харитония в Огородниках, выделенном ей по дружбе знакомыми для временного проживания) и с большою ограниченностью в средствах — Цицианов ведь «проел» все громадное ее приданое: она смогла сохранить лишь 15 тысяч рублей ассигнациями и на эти деньги должна была жить с тремя горничными из крепостных (перед смертью она их отпустила).

И еще одно обстоятельство нельзя не упомянуть сейчас. Княгиня Варвара Егоровна Цицианова по мере приближения своего к старческому возрасту оказалась нервно больной, и она уже об «остроумных вымыслах» Дмитрия Евсеевича более и слышать ничего не хотела — с некоторой поры они стали только раздражать ее и даже в бешенство приводить.

А она ведь была, кстати, на двадцать лет моложе своего супруга. И в то время как княгиня истерики закатывала и называла его «старым вралем», «отъявленным обманщиком», «несусветным мотом», он был необычайно бодр, розовощек, раскладывал пасьянсы в своем домике с лаковой мебелью и с воодушевлением рассказывал гостям своим о легкой, как пух, медвежьей шубе, разноцветных овцах, громадных пчелах, фраке из рыбьего сукна и т. д.

При входе в домик была весьма поместительная зала, в одном конце которой стоял большой ломберный стол, и на нем Дмитрий Евсеевич раскладывал

пасьянс, а рядом неизменно стоял камердинер Сергей, заложив руки за спину. Он всегда указывал Цицианову, если тот пропускал карту. Сергей и был первым слушателем князя, хотя он давно уже все «остроумные вымыслы» князя знал назубок, но внимал им с неизменным наслаждением. Когда появлялись гости, а они появлялись едва ли не каждодневно, старик страшно оживлялся, но пасьянса не оставлял, просто рассказы свои извергал, как вулкан извергает лаву.

В общем, как уже говорилось, Цицианов был до самого конца неутомим и неудержим в изобретении невероятных забавных историй. О ворчании и даже прямых обвинениях со стороны Варвары Егоровны до него не раз, видимо, доходили известия (медиатором, передатчиком высказываний супругов друг о друге, не исключено, была дочка их Елизавета Дмитриевна, опекавшая и мать, и отца; кстати, она была особа весьма болтливая и остроумная при этом — явно в Дмитрия Евсеевича, а вот расстроенными нервами и религиозной одержимостью — в мать), но он не придавал, видимо, обвинениям со стороны своей экзальтированной супруги ровно никакого значения, скорее они только раззадоривали его.

И Цицианова можно понять, как нам кажется. Ну как он мог принимать всерьез гневные речи своей Варвары Егоровны? В ответ он мог лишь, улыбаясь и со своими привычными ужимками неотразимого комика, утверждать и показывать (мимикой, движени-

ем рук и глаз), что супруга его рехнулась окончательно, и был, кстати, совсем недалек от истины. По-иному просто невозможно было оценивать то, что стало происходить с княгиней.

От расстройства нервов Варвару Егоровну (Егориевну, как она сама говорила) лечил сам Штафран, доктор императрицы Елизаветы Алексеевны, но безуспешно, он прямо заявил, что не знает способа ее вылечить.

Случались у нее и самые настоящие припадки, которые все время увеличивались. Бывало, она по несколько часов лежала без движения как мертвая, придя же в себя, требовала уголь и бумагу и начинала в огромном количестве рисовать кресты и распятого Спасителя, тут-то как раз и доставалось сильно Дмитрию Евсеевичу — она в подлинном гневе честила его болтуном, нечестивцем и безбожником и все никак не могла простить супругу своему рассказ, как господь Саваоф хлопнул его по плечу и благодарил за добрый поступок.

Да, Варвара Егоровна бушевала частенько. Основная причина была в том, что, при всем своем европейском образовании, она отличалась в поздние годы свои крайней религиозной нетерпимостью, которую выражала все более темпераментно, и особенно когда речь заходила об ее супруге, который со всею пылкостью фантазировал, даже когда дело доходило до священных предметов, и это-то как раз совершенно выводило княгиню из себя.

Кстати, совсем не исключено, что Цицианов преднамеренно стал в своих рассказах обыгрывать священные предметы в пику своей супруге, становившейся все более и более религиозно-экзальтированной.

А когда она чванилась царским происхождением своим, Цицианов всегда говорил ей, что его род гораздо древнее, что Цициановы напрямую происходят от праотца Иакова, и приплетал какую-то басенку о лестнице в своем фамильном гербе, что совершенно вводило, как можно предположить, Варвару Егоровну из себя.

И княгиня восстала наконец-то против Дмитрия Евсеевича и его бесчисленных анекдотов.

А вот А. С. Пушкин, например, в свои наезды в Москву, судя по всему, заслушивался цициановских рассказов (свела поэта с «русским Мюнхгаузеном», возможно, все та же Елизавета Дмитриевна; известно, что она 1 марта 1831 года участвовала с А. С. Пушкиным в санном катании под Москвой), и они, что совершенно очевидно, никоим образом ему не надоедали, не претили, скорее напротив, были в творческом плане крайне любопытны для него и вообще заняты, а религиозным вольнодумством поэта было не испугать, он сам в этом был дока.

Итак, «остроумные вымыслы» Дмитрия Евсеевича весьма привлекали поэта. Собственно, только потому ведь прямые отзвуки цициановских текстов и удалось обнаружить в трех больших созданиях А. С. Пуш-

кина — в поэме «Домик в Коломне», в романе в стихах «Евгений Онегин» и в романе «Капитанская дочка».

Но о Дмитрие Евсеевиче Цицианове и об его устном наследии поэт, конечно же, был осведомлен задолго до 1831 года, ибо уже в «Воображаемом разговоре с Александром I» (1825 г.) он писал, что ему приписывают всякое слово противозаконное, как всякие остроумные вымыслы приписывают князю Цицианову. Но знать «остроумные вымыслы» и лично общаться с их неподражаемым создателем и рассказчиком — дело совершенно разное.

Собственно, мы не исключаем даже, что о знаменитом князе-врале А. С. Пушкин услышал впервые еще в московский долицейский период своей жизни; мальчик он был живой, любознательный, и разговоры да пересуды взрослых его весьма интересовали, включая сюда и всякие московские пикантные сплетни, к коим относились и «новости-анекдоты» «русского Мюнхгаузена».

В любом случае знал А. С. Пушкин «лжи» князя Цицианова давно, но вот лично общался, как мы можем предположить, начиная с марта 1831 года, тогда-то и возник, как видно, новый острый виток интереса поэта к творчеству «русского Мюнхгаузена», что как раз и проявилось непосредственно при работе над «Капитанской дочкой».

Да и для Николая Васильевича Гоголя, услышавшего «новости-анекдоты» Цицианова, видимо, в передаче А. О. Смирновой-Россет, близкой своей приятель-

ницы, они представляли совершенно особый интерес. Николай Васильевич ведь и сам был непревзойденный мастер «лживых» историй, так что он в полной мере мог оценить феномен «русского Мюнхгаузена» (о поэтике Гоголя, жанре анекдотов-небылиц и Цицианове см. *Анекдот 2015: 196—202*).

Чрезвычайно высоко ставил устное творчество Д. Е. Цицианова и П. А. Вяземский, в своей «Старой записной книжке» назвавший его, как уже говорилось выше, «поэтом лжи».

Но, помимо несомненной своей известности в пушкинском литературном кругу (этот круг был крайне важен, конечно, но довольно узок, надо признать), которая возникла, думается, во многом благодаря посредничеству А. О. Смирновой-Россет, истинной хранительнице цициановских традиций, Дмитрий Евсеевич был в свое время настоящей московской знаменитостью, и особенно в аристократической среде «отставной столицы».

Да и в Санкт-Петербурге литераторы о нем вполне были наслышаны (например, Петр Плетнев, поэт, критик и ректор Петербургского университета), и в Гельсингфорсе даже (профессор русского языка Яков Грот). Однако главной средой, где в первую очередь функционировали цициановские «остроумные вымыслы», все же была, безо всякого сомнения, именно аристократическая Москва.

Правда, так было до поры до времени. С исчезновением старой барской Москвы, с уходом поколений «от-

ставных фаворитов» екатерининского, павловского царствований, деятелей александровской эпохи, жительствовавших на покое в «отставной столице», был едва ли не начисто забыт, почти что, можно сказать, выветрился из городской культурной памяти и сам князь Цицианов — «русский Мюнхгаузен», на протяжении целых десятилетий забавлявший и услаждавший своими невероятными историями графа Ф. В. Ростопчина, который, кстати, и сам был великолепным рассказчиком, и многих других значительных и совершенно незначительных особ. Дмитрий Евсеевич частенько повторял, что все люди равны, это его супруга любила почваниться; так что он, может, и в пику ей, но тем не менее был готов делиться своими «остроумными вымыслами» с кем угодно, готов был потчевать всякого и в плане публики не брезговал никем.

Когда вся эта барская и околобарская среда трансформировалась, возникли новые интересы и привязанности, стали формироваться и доминировать другие вкусы и шутки, тут забыли и о князе Цицианове как своего рода воплощении «допотопной и допожарной Москвы»; наконец, просто о нем забыли, да так забыли, как будто его и не было никогда.

В общем, имело место едва ли не тотальное забвение памяти о великом московском рассказчике (лишь в семействе Россетов довольно долго помнили о «русском Мюнхгаузене»: Александра Осиповна и ее братья еще на протяжении нескольких десятилетий продолжали рассказывать о князе Цицианове и переда-

вали его «остроумные вымыслы», но происходило все это уже за пределами Москвы) и созданной им россыпи текстов, складывавшихся в целостную панораму и представлявших собою оригинальную анекдотическую летопись «отставной столицы». Итак, легендарный Дмитрий Евсеевич оставался какое-то время лишь в пределах семейной традиции, а потом и она пресеклась.

И то, что в обществе о «русском Мюнхгаузене» вдруг забыли, это произошло даже и не быстро, а стремительно, пожалуй. Причем у этой совершенно непростительной забывчивости была своя особая причина. Вот в чем, как нам кажется, она заключалась. Может быть, причин было даже и несколько, но мы укажем сейчас на одну, но основную, кардинальную, а вернее даже на две.

Напоминаем: наследие Дмитрия Евсеевича Цицианова, при всем своем несомненно литературном характере, было исключительно устным — в этом едва ли не все дело, то есть в специфическом характере бытования цициановских «остроумных вымыслов». Да, он не писал, он только говорил, но говорил не умолкая и был в своих импровизациях всегда колоритен и своеобразен. Вот характерная реакция современника на рассказы Цицианова: «Хотелось бы знать, как такие вещи приходят в голову, какое воображение надо иметь» (*Смирнова-Россет 1989: 503*).

Итак, князь Цицианов только говорил, хотя граф Ф. В. Ростопчин, как мы в своем месте отметили уже,

в шутку и пытался приписать ему авторство книги «Не любо — не слушай, а лгать не мешай». Между прочим, можно сказать, что все наследие этого рассказчика представляет собой оригинальный устный вариант этой книги.

И еще, кстати, лень московскую никак не стоит сбрасывать со счетов (это, на наш взгляд, как раз и есть вторая причина), или, может быть, не столько даже и лень, сколько непамятливость москвичей, их погруженность в сиюминутную суету и ввергли в пучину забвения устное наследие князя Цицианова.

Все это, конечно же, сделало свое черное дело, очень даже поспособствовав тому, что «русский Мюнхгаузен», вызывавший в свое время столь острый интерес и живейший отклик среди горожан, канул вдруг в Лету, неожиданно взял да исчез, оставив после себя лишь узенький ряд весьма разрозненных упоминаний. Причем упоминания эти никогда даже и не были собраны вместе, правда, если не считать одного обширного примечания Б. Л. Модзалевского к «Дневнику» А. С. Пушкина (1923 г.). Но без этого примечания великого пушкиниста (и еще без его картотеки, хранящейся в отделе рукописей Пушкинского Дома) настоящая книжечка, кажется, была бы просто невозможна.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Остроумные вымыслы» «русского Мюнхгаузена» хотя и с восторгом и с изумлением выслушивались и принимались современниками, а если даже и не принимались, то равнодушными не оставляли никого, но при этом они почти и не записывались. А если и записывались, то не планомерно и не последовательно, как надо было бы это делать, а лишь от случая к случаю и еще, как правило, слишком уж сжато, конспективно, бегло (хотя, слава богу, исключения все же были, но, увы, в слишком ограниченном количестве).

Вот нам и приходится теперь воссоздавать, можно сказать, из праха, реконструировать буквально из обрывков, из мелких, даже мельчайших мемуарно-дневниковых записей и эпистолярных свидетельств устную книгу о «русском Мюнхгаузене». Впрочем, этот восстанавливаемый ныне текст еще можно определить и как целостный анекдотический эпос пушкинской эпохи, в свое время и значимый, и популярный.

Затраты были сделаны невероятные, на сбор материала ушло не менее трех десятилетий, но картинка получилась очень неполная — уж слишком скупы и недостаточны сохранившиеся сведения, уж слишком мало мы знаем о Дмитрие Евсеевиче Цицианове. И все же хоть какая-то картинка, думается, получилась.

Мы надеемся, что представление о «русском Мюнхгаузене», пусть хотя бы самое приблизительное, теперь составить уже можно. И главное, что собран некоторый корпус текстов, да, он невелик по своим размерам, но там представлены самые знаменитые устные новеллы нашего героя. Кроме того, выше были указаны проекции цициановских «остроумных вымыслов» в русскую литературу пушкинского времени, что, кажется, весьма немало важно.

Смеем рассчитывать, что из забвения, которое было ему уготовано нерадивыми современниками, Дмитрий Евсеевич Цицианов все же отныне вырван.

ЛИТЕРАТУРА

- Анекдот 2015 — *Курганов Е. Я.* Анекдот как жанр русской словесности. М., 2015.
- Батюшков 1886 — *Батюшков К. Н.* Переписка / Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. СПб., 1886.
- Борев 1995 — *Борев Ю. Б.* История государства советского в преданиях и анекдотах. М., 1995.
- Булгаков 1901 — *Булгаков А. Я.* Письма к К. Я. Булгакову // Русский архив. 1901. Кн. 3.
- Булгаков 1904 — *Булгаков А. Я.* Воспоминания о 1812 годе и вечерних беседах у гр. Ф. В. Ростопчина // Старина и новизна. 1904. Кн. 7.
- Бурнашев 1875 — *Бурнашев В. П.* Наши чудодеи. Летопись чудачеств и эксцентричностей всякого рода. СПб., 1875.
- Бюргер 1956 — *Бюргер Г.* Удивительные приключения барона Мюнхгаузена. М., 1956.
- Веселовский 1915 — *Веселовский А. Н.* Боккаччьо, его среда и сверстники. Ч. 1 / Веселовский А. Н. Собр. соч.: В 16 т. Т. 5. Пг., 1915.
- Вигель 1864 — *Вигель Ф. Ф.* Воспоминания. М., 1864.

- Волкова-Ланская 1874 — Грибоедовская Москва в письмах
М. А. Волковой к В. И. Ланской // Вестник Европы. 1874.
Кн. 9.
- Вяземский 1882 — *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 7.
СПб., 1882.
- Вяземский 1883 — *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 8.
СПб., 1883.
- Вяземский 1884 — *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 9.
СПб., 1884.
- Гаспаров 1978 — *Гаспаров Б. М.* Устная речь как семиотиче-
ский объект // Семантика. Номинации и семиотика уст-
ной речи. Вып. 1. Тарту, 1978.
- Голицын 1869 — Рассказы С. М. Голицына // Русский архив.
1869. № 3.
- Греч 1886 — *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. СПб., 1886.
- Грибоедов 1969 — *Грибоедов А. С.* Горе от ума. М., 1969.
- Гроссман 1923 — *Гроссман Л. П.* Искусство анекдота у Пушки-
на / Гроссман Л. П. Этюды о Пушкине. М.—Пг., 1923.
- Двадцать три Насреддина 1978 — Двадцать три Насреддина.
Сост. М. С. Харитонова. М., 1978.
- Державин 1868 — *Державин Г. Р.* Соч.; с объяснит. примеч.
Я. К. Грота: В 9 т. Т. 1. СПб., 1868.
- Дневник Пушкина 1923 — Дневник А. С. Пушкина. 1833—
1835. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Пг., 1923.
- Долгоруков 1890 — *Долгоруков И. М.* Капище моего сердца. М.,
1890.
- Жихарев 1955 — *Жихарев С. П.* Записки современника. М.,
1955.
- Извлечение 1889 — Извлечение из журналов почетных стар-
шин Московского Английского клуба // Русский архив.
1889. Кн. 2.

- Исторические рассказы и анекдоты 1885 — Исторические рассказы и анекдоты из жизни русских государей и замечательных людей. СПб., 1885.
- Каган 1970 — *Каган Ю. М.* Генрих Бебель и его «Фацетии» // Бебель Г. Фацетии. М., 1970.
- Князьков 1908 — *Князьков С. А.* Быт дворянской Москвы конца XVIII и начала XIX веков // Москва в ее прошлом и настоящем. Вып. 8. М., 1908.
- Копьев 1794 — *Копьев А. Д.* Что наше, тово нам и не нада. СПб., 1794.
- Крылов 1982 — *И. А. Крылов* в воспоминаниях современников. М., 1982.
- Лествицын 1882 — *Лествицын В. И.* Фабула о шуте-плуте // Русская старина. 1882. Т. 36.
- Лонгинов 1868 — *Лонгинов М. Н.* Заметка // Русский архив. 1868. № 11.
- Лорер 1904 — *Лорер Н. И.* Записки декабриста // Русское богатство. 1904. № 3.
- Лотман 1983 — *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1983.
- Мельгунов 1861 — *Мельгунов Н. А.* Лекции г. Пинто о Данте и его веке // Современная летопись. 1861. № 17.
- Москвитянин 1842 — *Москвитянин.* 1842. № 2.
- Мудрецы Талмуда 2005 — Мудрецы Талмуда (сборник сказаний, притч, изречений). Ростов-на-Дону, 2005.
- Не любо — не слушай 1811 — Не любо — не слушай, а лгать не мешай. Изд. 4-е. СПб., 1811.
- Пекарский 1863 — *Пекарский П. П.* Материалы для истории журнальной и литературной деятельности Екатерины II // Приложение ко второму тому Записок Императорской академии наук. СПб., 1863.

- Переписка Грота 1896 — Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым: В 3 т. Т. 2. СПб., 1896.
- Переписка Ростопчина 1872 — Переписка Ф. В. Ростопчина с П. Д. Цициановым // XIX век. Сб. М., 1872. Кн. 2.
- Письмо масонской ложи 1909 — Письмо масонской ложи Немезиды в масонскую ложу Изиды // Русская старина. 1909. № 1.
- Письма Ростопчина 1863 — Письма Ф. В. Ростопчина к Ф. И. Киселеву // Русский архив. 1863. № 12.
- Полное и обстоятельное 1869 — Полное и обстоятельное собрание подлинных исторических, любопытных, забавных и нравоучительных анекдотов четырех увеселительных шутов Балакирева, Д'Акосты, Педрилло и Кульковского. СПб., 1869.
- Пушкин 1822 — *Пушкин В. Л.* Стихотворения. СПб., 1822.
- Пушкин 1937 — *Пушкин А. С.* Евгений Онегин / Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 6. М.—Л., 1937.
- Пушкин 1948 — *Пушкин А. С.* Домик в Коломне / Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 5. М.—Л., 1948.
- Пушкин 1949 — *Пушкин А. С.* Воображаемый разговор с Александром I / Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 11. М.—Л., 1949.
- Пыляев 1891 — *Пыляев М. И.* Старая Москва. СПб., 1891.
- Ростопчин 1853 — *Ростопчин Ф. В.* Сочинения. СПб., 1853.
- Русские эксцентрики 1859 — Русские эксцентрики и остряки // Искра. 1859. № 40.
- Русский архив 1889 — Русский архив. 1889. Кн. 2, № 5.
- Русский литературный анекдот 1990 — Русский литературный анекдот / Вступ. статья Е. Курганова. М., 1990.
- Русское чтение 1845 — *Глинка С. Н.* Русское чтение. СПб., 1845. Ч. 1.
- Сборник биографий 1906 — Сборник биографий кавалергардов. СПб., 1906. Т. 3.

- Свиньин 1822 — *Свиньин П. П.* Письмо издателя «Отечественных записок» к его высокопревосходительству Ив. Ив. Дмитриеву // *Отечественные записки.* 1822. Ч. 12.
- Словарь 1847 — *Бантыш-Каменский Д. Н.* Словарь достопамятных людей Русской земли, ч. 2—3. СПб., 1847.
- Смирнова-Россет 1895 — *Смирнова-Россет А. О.* Записки. М., 1895.
- Смирнова-Россет 1989 — *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989.
- Смирнова-Россет 1990 — *Смирнова-Россет А. О.* Воспоминания. Письма. М., 1990.
- Смех в Древней Руси 1984 — *Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В.* Смех в Древней Руси. Л., 1984.
- Сравнительный указатель 1979 — Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Л., 1979.
- Сумцов 1898 — *Сумцов Н. Ф.* Разыскания в области анекдотической литературы. Анекдоты о глупцах. Харьков, 1898
- Таанит 1998 — Вавилонский Талмуд. Трактат «Таанит». Коммент. изд. раввина А. Штейнзальца. Иерусалим; М., 1998.
- Тарсаидзе 1983 — *Тарсаидзе Н. Г.* Сведения о грузинах в России во второй половине XVIII века. Тбилиси, 1983.
- Хомутова 1867 — Из записок А. Г. Хомутовой // *Русский архив.* 1867. № 7.
- Черейский 1988 — *Черейский Л. А.* Пушкин и его кружение. Л., 1988.
- Шаховской 1969 — *Шаховской А. А.* Комедии. Л., 1969.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	9
---------------------	---

Глава первая (вводная) **Анекдоты о дураках, лгунах, простаках**

1. Анекдоты о дураках	13
2. Анекдоты о лгунах (хвастунах)	49
3. Анекдоты о простаках	55

Приложения к главе первой

<i>Приложение первое.</i> Анекдоты об А. Д. Копьеве	83
<i>Приложение второе.</i> Л. А. и А. Л. Нарышкины — острословы	85
<i>Приложение третье.</i> Из анекдотов об А. М. Пушкине . . .	91
<i>Приложение четвертое.</i> Анекдоты об И. А. Крылове . . .	92

Глава вторая
«Русский Мюнхгаузен». Опыт реконструкции

1. Традиции анекдотов-небылиц и книга о «русском Мюнхгаузене»	99
2. Что мы знаем о Д. Е. Цицианове?	103
3. Грузин как «русский Мюнхгаузен». Кавказские анекдоты в системе анекдотической автобиографии Д. Е. Цицианова. Семейные предания	107
4. Книга о «русском Мюнхгаузене». Потемкинский цикл. Курьерские анекдоты	128
5. Книга о «русском Мюнхгаузене». Московский цикл .	150
6. Репутация «русского Мюнхгаузена» и ее истоки . .	159
7. Феномен Мюнхгаузена и творчество Д. Е. Цицианова. Об образе рассказчика — «карателя лжи»	169
8. Анекдоты Д. Е. Цицианова в литературном процессе Пушкинской эпохи	183

*Дополнения к главе второй,
возникшие в ходе подготовки книги к печати*

<i>Первый раздел. «Русский Мюнхгаузен» и «Капитанская дочка»</i>	<i>189</i>
<i>Второй раздел. Устные новеллы Д. Е. Цицианова в мемуарном наследии А. О. Смирновой-Россет . . .</i>	<i>192</i>
<i>Третий раздел. «Русский Мюнхгаузен». Последние годы жизни</i>	<i>201</i>
<i>Заключение</i>	<i>215</i>
<i>Литература</i>	<i>217</i>

Курганов Ефим Яковлевич

«Русский Мюнхгаузен»

Реконструкция одной книги, которая была в свое время
создана, но так и не была записана

Ответственный редактор МАКСИМ АМЕЛИН

Макет и компьютерная верстка: СТАС ВАЛИШИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО Б.С.Г.-ПРЕСС

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 3. Тел.: (495) 626-24-72;

e-mail: bsgpress@gmail.com Сайт: bsg-press.ru

Книги издательства можно приобрести:

В РОЗНИЦУ В МОСКВЕ

Книжный магазин «Москва»,
м. «Пушкинская», «Тверская»,
ул. Тверская, д. 8.
Тел.: (495) 629-64-83, (495) 797-87-17

ТД «Библио-Глобус», м. «Лубянка»,
ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: (495) 781-27-37

Московский дом книги,
м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, д. 8.
Тел.: (495) 789-35-91

Дом книги «Молодая Гвардия»,
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28.
Тел.: (495) 238-50-01.

Книжный магазин «Фаланстер»,
м. «Пушкинская», «Тверская»,
Малый Гнезниковский пер., д. 12/27.
Тел.: (495) 629-88-21

Сеть магазинов «Республика».
Тел.: (495) 251-65-27

В РОЗНИЦУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Санкт-Петербургский Дом книги,
м. «Невский проспект», «Гостиный двор»,
Невский проспект, д. 28.
Тел.: (812) 448-23-55

Сеть магазинов «Буквоед».
Тел.: (812) 601-06-01.

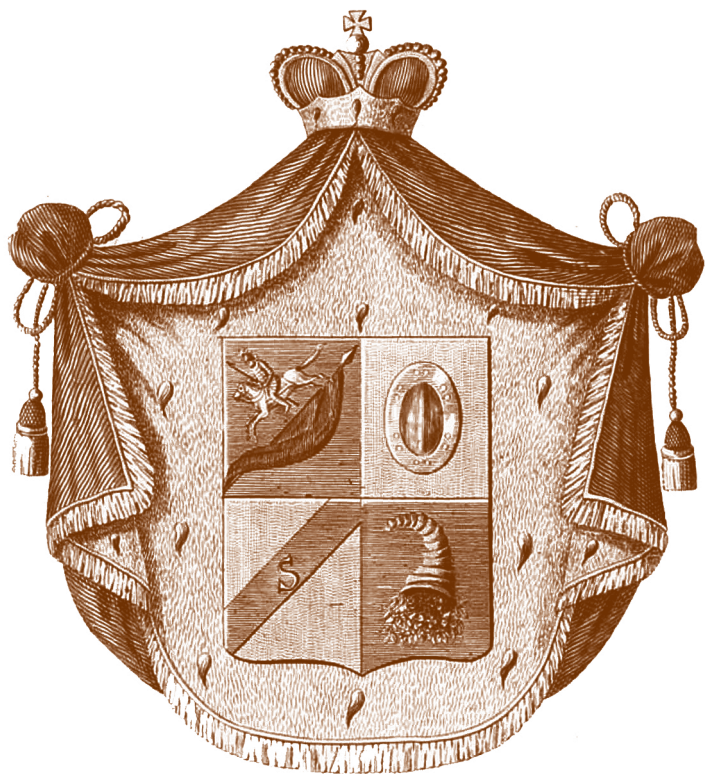
Книжный магазин «Все свободны»,
наб. Мойки, 28. Тел.: (911) 977-40-47

ОПТОМ

КД «Б.С.Г.-Пресс», Москва,
Варшавское шоссе, д. 3.
Тел. (495) 626-24-72

«А. Симпозиум», Санкт-Петербург,
20-я линия В. О., д. 5/7.
Тел. (812) 325-66-61

Подписано в печать 09.02.17. Формат 70х100/32. Гарнитурa Noto.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем 7 п. л. Тираж 1000 экз. Заказ №



Герб рода князей Цициановых (Цицишвили)



Князь Григорий Потёмкин
Портрет работы неизвестного художника. 1780-е



Императрица Екатерина Вторая
Портрет работы Дмитрия Левицкого. 1794



Граф Фёдор Ростопчин
Портрет работы Сальватора Тончи. 1800



Князь Пётр Вяземский
Портрет работы Карла Рейхеля. 1817



Александр Пушкин
Портрет работы неизвестного художника. 1831



Александра Смирнова-Россет
Акварель Петра Соколова. 1835



Николай Лорер
Портрет работы Роберта Шведе. 1841